

[Polaris]

Михаил Гирели



EOZOON

(Заря жизни)

Затерянные миры

Том XIX

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXXVII



Salamandra P.V.V.

МИХАИЛ ГИРЕЛИ

EOZOON **(Заря жизни)**

Роман

Затерянные миры

Том XII

Salamandra P.V.V.

Гирели (Пергамент) М. О.

Eozoon (Заря жизни): Роман (Затерянные миры. Том XIX). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 242 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXXVII).

Международная экспедиция ученых пытается раскрыть в джунглях Суматры тайны эволюции человека – и попутно раскрывает тайну исчезновения дочери голландского миллиардера. В этом весьма необычном произведении, впервые выпущенном в 1929 г., автор сочетает авантюрный сюжет с философскими и эротическими мотивами, а также модными темами вырождения, создания гибридов людей и обезьян, биологического преобразования человека и т.д.

EOZOON
(Заря жизни)

Книга первая

ДЕСЯТИЛЕТНИЕ ПОИСКИ

ТО, О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПРОЧЕСТЬ

Нельзя идти осматривать картинную галерею или незнакомый город без проводника или хорошо составленного руководства.

Настоящие строки – отнюдь не предисловие к предлагаемому роману. Они скорее руководство, с которым необходимо познакомиться до начала чтения самого романа.

Дело в том, что хотя предлагаемое произведение и носит на себе отпечаток авантюрно-фантастического романа, но с этим авантюрно-фантастическим планом тесно переплетен план психологический.

И в нем вся сущность.

В романе фигурируют в качестве центральных лиц две фигуры: молодая девушка и уже начинающий стареть ученый. И тот и другая страстно желают принести человечеству такую жертву, которая оздоровила бы это человечество, сделала бы его свободным и социально-счастливым. И обоих постигает неудача, ибо оба подходят к разрешению задачи неправильно. Девушка – порождение буржуазного класса, и приносимая ею жертва человечеству чудовищна по своему замыслу и трагична своей бесцельностью. Ученый более счастлив в этом отношении. Его жертва – плод его долгой научной деятельности – в конце концов также бесцельна, но его преимущество заключается в том, что он вовремя сознает свои ошибки и если не громогласно, то в душе своей уже признается в них. И это преимущество его вытекает из того простого обстоятельства, что он... русский. Величие социальной реформы страны его рождения открывает ему глаза на его ошибки и он радостно признает, что «зарю жизни» должно быть названо не то неестественно-уродливое, о чем мечтает героиня романа, представительница буржуазной Европы, а новый кадр людей – целый класс, вышедший победителем из тяжелой борьбы последних лет.

Тут нет никакой натяжки.

И именно потому, что ее нет, я счел нужным написать эти строки, дабы новое поколение наше (главный потребитель современной литературы) не заблудилось бы в незнакомом городе и сумело бы правильно ориентироваться в лабиринтах картинной галереи. Эти строки тем более необходимы, что читателю придется иметь дело, по ходу романа, с биологическими теориями, идущими из послевоенной Европы и своими упадочническими настроениями могущими затемнить значение всего романа и неправильно дать понять читателю, кого именно уже не герои предложенного романа, а сам автор называет громким именем «Ео-зооп'а», т. е. «зари новой жизни».

ЧЕЛОВЕК УМЕЕТ СТРЕЛЯТЬ

Рупрехт фон Альсинг сконфуженно стал осматривать блестящий затвор автоматического ружья.

Черное волосатое лицо гориллы, искаженное гневом и яростью, с надувшимися от напряжения глазными мешками, протянутыми вдоль всей верхней челюсти и кончавшимися только у самых ушей, внезапно перестало быть страшным и разгладило свои отвратительные морщины. Совершенно неожиданно углы рта, большого и некрасивого, окаймленного толстыми, мясистыми губами, виновато опустились книзу, и это судорожное движение жутко напомнило улыбку жалкого, провинившегося человека.

В маленьких глазах, глубоко запавших в резко ограниченных выдающимися надбровными дугами глазницах, радостно засияла та же болезненно-извиняющаяся улыбка, и они стали добрыми, влажными, понимающими.

Одной рукой животное осторожно почесывало правый бок. Другая была прижата к груди, тщетно пытаясь остановить поток густой, темно-красной крови, который, пробившись сквозь длинные коричневые пальцы, зажимавшие рану, спокойно и тяжело расползлся во все стороны, засты-

вая в мохнатой шерсти зверя дрожащими, фиолетово-алыми сгустками и распространяя вокруг терпкий запах железа и селитры.

Пуля Яна ван ден Вайдена пробила маленькое отверстие в груди зверя чуть-чуть повыше левого соска.

– Надо было взять тремя четвертями сантиметра левее и ниже! – воскликнул весело охотник и подошел к горилле.

Предсмертные судороги сильно потрясли тело поверженного зверя и, хотя у него оставались еще силы встать на ноги, он продолжал спокойно лежать на спине, устремив свои человеческие глаза в горячие своды синего неба, которое, казалось, дрожало от густых и влажных испарений земли.

Глаза фон Альсинга встретились с глазами умирающей обезьяны.

– Как хотите, но мне это напоминает... убийство, – пробормотал молодой человек, тщетно пытаясь найти хоть одно подозрительное пятнышко или царапинку на сверкающем магазине ружья.

Ван ден Вайден подошел к умиравшей горилле, не слышав бормотания молодого товарища.

Грубо и совершенно бессмысленно, ради балаганной театральности, высокий, худой и прямой как хлыст старик с силой ударил умирающее животное каблуком желтого охотничьего сапога по вздувшемуся, поросшему редкими буроватыми волосами животу и процедил сквозь зубы: «Еще одна капля в сосуд моей мести».

Горилла икнула, как человек, с трудом приподняла голову и глазами добрыми, внезапно понявшими то, чего никогда не могла понять при жизни, улыбнулась в стальные глаза ван ден Вайдена теплой лаской, благодарностью и прощением.

Ван ден Вайден расхохотался.

– У этой бестии глаза совсем как у католического священника, – воскликнул он, но сразу почувствовал, что заглушить смехом то, что внезапно выросло у него в душе под этим звериным взглядом, все равно не сможет.

– Интереснейший экземпляр *Gorillae ginae*, – произнес он, насупив брови.

Приподнятая голова гориллы тяжело упала на мягкие листья пандана, и, взглянув в последний раз в дрожащие небеса, обезьяна глубоко вздохнула, ее широко вырезанные ноздри с силой втянулись внутрь и, закрыв спокойно глаза, она застыла навеки на горячей траве Лампона, мягкой как пух, когда она полна еще жизненными соками, и режущей тело как бритва, когда она высыхает под неистовыми лучами полуденного солнца тропиков.

У ПАСТОРА БЕРМАНА ГОСТИ

Пастор Берман раздраженно отодвинул чашку кофе и с оттенком нескрываемой брезгливости сказал сидевшему против него в плетеном шезлонге молодому человеку:

– ...и вообще, знаете... я не очень-то склонен верить всей этой мистификации!

Собеседник пастора, молодой человек лет тридцати, слегка наклонился в сторону пастора и холодно улыбнулся.

На сотни верст крутом совершенно прозрачный воздух был раскален огненными лучами вздыбившегося солнца, останавливал дыхание своею расплавленной неподвижностью, заставляя биться стесненное какой-то невероятной тяжестью сердце быстро, но тяжело и неровно, слабыми вынужденными ударами.

В эти ужасные дневные часы пастор Берман спасался только крепким черным кофе, разбавленным коньяком.

Но на молодого англичанина жара не оказывала ни малейшего действия.

Он был одет в традиционный английский костюм тропиков, состоявший из плотно облегающего тело белого френча, сшитого из какой-то неопределенной материи, таких же белых брюк и белых парусиновых туфель на пробковой подошве.

На голове, отбрасывая резкую тень на глаза, красовался сделанный из морской травы шлем, обвернутый синей вуалью.

Тонкий и, казалось, легкий стек со скрытой полоской хорошо закаленной, гибкой как тростник и твердой как камень стали, спокойно и равномерно отбивал дробь по бамбуковому полу веранды пастора Бермана.

С подчеркнутой любезностью, видя, как пастор Берман, задыхаясь, расстегивал порывистыми движениями ворот своей чесучовой сутаны, англичанин, меняя тему только что происходившего между ними разговора, вежливо осведомился:

— Вам, кажется, не совсем хорошо, сэр?

— Я очень страдаю в эти часы, — с трудом проговорил пастор и, указывая трагическим жестом по направлению к видневшейся на западе массивной горной цепи, воскликнул: — Посмотрите только, сколько дьяволов столпилось на одном месте!

Горный массив, на который указывал пастор, представлял собой, действительно, величественную картину.

Совершенно заслонив своей массой горизонт и бирюзово-перламутровые волны Индийского океана, горная цепь западного побережья Суматры, возвышаясь почти у самого берега, протянулась гигантским хребтом от Паоло Брасе до Зондского пролива, в который она спускалась скалистыми уступами.

Вершины Долок Симанабели и Пезек Бенит дымились, освещая красным заревом обволакивающие их тучи, а вулканы Саго и Моро Апи рвали на клочья дрожащий воздух бурными залпами лавы, пепла и исполинских столбов медно-красного огня.

— Нельзя видеть в каждом обыкновенном вулкане дьявола, — с вежливой улыбкой процедил англичанин сквозь крепкие белые зубы, однако, не давая повода к какой-нибудь фамильярности или вообще к чему-нибудь, выходящему за пределы простого светского разговора.

— Поживите здесь на Суматре немного, тогда запоете по-иному, — пробурчал насупившийся пастор, глотая холод-

ный черный кофе. — Ведь вот только здесь, на значительной возвышенности, в Силалаги или на Падангском плоскогорье более или менее мыслимо существование белого человека. Почти всюду в остальных местах Суматры для нашего брата — смерть. И притом смерть медленная и мучительная, смерть, полная проклятий и пытки. Человек желтеет как лимон, внезапно стареет как египетская пирамида и высыхает как мумия. Ни один европеец дольше двух-трех месяцев не выдерживает этого климата. Там малярия расправляется с человеком на пятый-шестой день! Манящая ваши взоры трава, благоухающая как утро, оставляет на обнаженных местах вашего тела, которыми вы неосторожно прикоснулись к ней, ничем не смываемый яд, медленно проникающий даже сквозь неповрежденную кожу в ваш организм, и вызывает внезапно, тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, мучительное оцепенение мускулов и паралич сердца. А милые лесные жители! Они выдывают в вас из проклятых сарбаканов маленькие отравленные стрелки, величиной не больше булавки, но от царапинки которых вы тотчас же начинаете чернеть, пухнуть и минут через пятнадцать покорно разрешаете отрезать вашу голову для украшения забора лесного вождя, и не можете не разрешить этого сделать, потому что и с неотрезанной головой вы к тому времени в достаточной степени мертвы. О!.. Ну, разве не дьявольщина все это? Вам этого, может быть, не понять, но я, раздумывая над греходеяниями нераскаянных, обливаюсь холодным потом и мне становится душно... дурно...

Пастор Берман сам не заметил, как с описания Суматры и нравов ее жителей перешел на тему воскресной проповеди о грешащем человечестве и каверзах злого духа, однако мистеру Уоллесу стало ясно, что пастору действительно дурно.

Это обстоятельство и заставило англичанина, сделавшего вид, что не замечает пасторской слабости, довольно мягко сказать:

— Ваша работа миссионера очень тяжела, конечно, но... — Несмотря на всю вежливость его интонации и напряжен-

ность позы, с которой он произнес эти слова, пастор Берман никак не мог уловить, издевается ли над ним этот непрошенный гость или соболезнует ему... — Но неужели же христианство и культура ничего не улучшили в этом крае? Ведь, если я не ошибаюсь, миссионерство началось на Зондских островах еще в 1598 г.? Я припоминаю, что Библия была переведена на малайский язык уже в 1773 г., а начиная с Людовика Бонапарта и Вильгельма I Нидерландского Океания перешла в руки гуманных управителей, первых пионеров истинной культуры, таких друзей человечества, как, например, Ян ван ден Боох, гуманист и христианин. И...

— И все это чистейший вздор, молодой человек, — вдруг вскипел пастор, грубо перебив своего корректного собеседника, сразу обнаружив расовое отличие, существующее между голландцем и англичанином.

Англичанин улыбнулся одними углами рта и, не меняя позы, спокойно выслушал заряд слов, сыпавшийся градом.

— Вздор! — прогремел пастор и, ударив по столу кулаком, продолжал более спокойно: — Вот именно-то гуманные методы управления цветными расами, применявшиеся голландскими генерал-губернаторами в прежние времена, и причинили непоправимый вред в деле насаждения культуры на островах и подорвали авторитет белых. Белого человека перестали бояться из-за мягкости и уступчивости этих господ правителей, а страх — это основной двигатель туземных мозгов. А если бы вы знали, какой помехой явилась их гуманность нам, миссионерам, в деле обращения язычников в христианство! Давно пора признать, что христианство — это не пустое словоизвержение господ проповедников; что христианство — это, прежде всего, дело и, как всякое дело, требует делового к себе отношения. Если ты добровольно не хочешь принять христианство, то тебя надо огнем. Да, огнем! А потом, откровенно говоря, я этих господ дикарей и за людей-то не считаю. Дарвинизм и тому подобный вздор — опасное заблуждение. Виды неизменяемы, и я убежден, что совершенный Господь сотворил все виды животного царства таковыми, каковыми они

в настоящее время и являются! Обезьяна была всегда обезьяной, человек оставался всегда человеком, а дикарь был сотворен, как промежуточное между ними звено, всегда был дикарем, остался таковым и, если не вымрет, то и останется дикарем на веки веков и никогда не будет в состоянии обратиться в человека.

– Да, сэр, – произнес, прищуриваясь, англичанин, молча выслушавший всю эту длинную тираду, – а вы не считаете несколько предосудительным, в таком случае, обучать обезьян христианству и давать им возможность приобщаться св. тайн?

– Во-первых, я не сказал, что дикарь – это обезьяна, – покраснел пастор. – Я сказал только, что это не человек. А потом... потом... ну, что же, назовите это опытом церкви, если хотите, не имеющим особо важного значения, так как все равно дикие расы идут быстро к вымиранию под натиском белой культуры. Все равно они скоро исчезнут с лица земли.

– Гм, – кашлянул англичанин, – а я полагал, что политика Европы по отношению к своим колониям осуждается церковью. Ведь что позволено мечу, то вряд ли можно разрешить кресту... виноват, или я, может быть, ничего в этом вопросе не понимаю.

– Современный миссионер, молодой человек, – строго ответил пастор, – и должен быть вооружен скорее мечом, чем крестом! Времена моих пра-пра-пра-предшественников, разных гуманитаристов, вроде знаменитого миссионера Ноликсона – давно уже канули в вечность. Огнем их надо всех, огнем! Это единственно правильная и реальная точка зрения. Жизненный повседневный опыт подсказал мне ее правильность. Вот, не угодно ли выслушать, например, о проделке этих господ? – спросил пастор и, не дожидаясь ответа, продолжал, указывая пальцем вниз, по направлению к деревьям баттов, окружавшим озеро Тоб: – Недели три тому назад в одном из их кланов произошел скандал: одна из жен раджи родила ребенка, в венах которого оказалась кровь белого человека. Тут ничего удивительного нет. Мало ли белых купцов проезжает мимо и ночует в их

деревнях? Однако прелюбодеяние жены наказывается по их законам смертной казнью. Зная это, я выехал на место происшествия, собрал весь клан, дал им понять, что, так как жена раджи согрешила с белым, то это должно быть принято как величайший почет и благоволение белого человека к их роду, просил их отпустить ко мне блудную жену для соответствующего внушения. Они очень внимательно выслушали меня и обещали исполнить мою просьбу после обсуждения происшествия в своем совете. Я вернулся к себе. Потеряв понапрасну целый день в ожидании прибытия блудной жены, обеспокоенный столь долго продолжающимся совещанием, вечером я снова отправился к ним.

Пастор Берман наклонился к перилам веранды и часто задышал, поминутно сплевывая.

– Я приехал к ним, мистер, с крестом на груди и двумя браунингами в карманах брюк. Когда я слезал с лошади, они доедали ее. Съели они ее по закону: живьем. По закону же в трапезе принимали участие родители и братья наказуемой, причем отец, в точности выполняя ритуал наказания, выжимал собственноручно лимонный сок на обнаженные зубами мышцы еще живой, трепетавшей в руках палачей, своей родной дочери. Кости были обглоданы дочиста.

На этот раз корректность англичанина изменила ему. Оскалив свои белые зубы, он бурно и весело расхохотался.

– Это великолепно! – воскликнул он. – Вы не станете отрицать, что у этих господ есть чувство уважения к закону и традициям? А ведь это – отличительная черта культурного человека. На мой взгляд, они много проиграли бы в глазах джентльмена, если бы отказались от лимона!

Перебивая веселый хохот англичанина, пастор Берман снова начал выбрасывать из себя кипящую лаву слов.

– Мне они предложили убираться подобра-поздорову, так как несчастная под пыткой показала, что... что... (она, вероятно, думала себя этим спасти) – что согрешивший с нею белый человек – был... я.

Смеяться больше англичанин уже не мог. У него болел живот и ломило шею, а пастор Берман продолжал негодующим голосом:

— А вот в прошлом году, во время созревания лимонов, когда дуют юго-восточные пассаты, господа христиане, опьяненные сильно действующими на нервы ветрами, вспомнили, что в старину у них был один, тоже не лишенный своих прелестей, обычай, который они тотчас же и воплотили в действительность. Обычай этот заключается в том, что все старики рода, которые одряхлели уже настолько, что являются лишь обузой всему племени, должны влезть на лимонные деревья и повиснуть головою вниз. В это время молодежь внизу пляшет, неистовствует и, кривляясь, орет: «Когда плод созреет, он сам упадет». Вместе с созревшими лимонами несчастные падают на землю и тотчас же поедаются живьем.

— Very well! — сказал англичанин. — У каждого народа свои обычаи. У нас в Англии, например, этих стариков послали бы в палату лордов. Мне думается, милый пастор, обижаться вам на это не следует,

— После этой истории с лимонами, — заговорил пастор, сделав вид, что не расслышал англичанина, — я писал в форт Кок, начальнику военного округа, и что же? Прислали отряд солдат, произвели дознание и выпороли публично всех старшин племени плетеной глагой (трава тут такая растет, рассекает она тело в кровь и вызывает потерю заживляющей способности у тканей). Ну, вот и все! А надо бы было их всех перевешать. Огнем надо было бы, огнем!

— Yes! — совершенно неожиданно, подымаясь со своего места, сказал англичанин каким-то до того странным и резко изменившимся голосом, что пастор Берман невольно вздрогнул. — Yes!

В серых глазах его скользнул холодный огонек, и они стали похожими на ту скрытую в его плетеном стэке сталь, что так легко могла раскроить любой череп.

Казалось, англичанин давно дожидался этой минуты. Он, видимо, решил больше не церемониться и разом вернуться к столь деликатно прекращенному им полчаса тому

назад разговору, в котором и заключалась скрытая цель его визита к пастору.

Резким движением руки он достал из бокового кармана своего френча визитную карточку и поднес ее почти к самому носу пастора, мгновенно из обыкновенного гостя перевоплощаясь в официальное лицо, которому нечего зря терять время.

Ошеломленный этой переменной, пастор Берман, побледнев, взял карточку и прочел:

СТЕФЕН УОЛЛЕС
Скотланд-Ярд
Лондон

а на обороте, за колониальной печатью его величества короля Великобритании, Ирландии и Индии, представителя на Суматре, наискось написанную фразу:

«Оказывать содействие».

ТАЙНА ЛИЛИАН ВАН ДЕН ВАЙДЕН

— Итак, — сказал пастор Берман, придавая своему вытянутому лицу более любезное выражение и чувствуя, как страх перед англичанином неприятно заползает в его сознание, — вы явились ко мне, мистер, поскольку я понимаю, с официальным поручением?

— Вы правильно поняли, господин пастор.

Тон мистера Уоллеса был сух и неприятен. И какой-то внутренний голос говорил пастору Берману все настойчивее и тревожнее о том, что перед ним враг, неожиданный, сильный и как будто не намеревавшийся скрывать свою враждебность.

Все это было крайне странно и неприятно и заставило пастора сказать:

– Хорошо, мистер Уоллес! Однако, разрешите мне перед началом вашего... кажется, допроса, который вы намереваетесь произвести, задать вам, в свою очередь, один-два вопроса?

– Пожалуйста.

– Почему это вы обращаетесь по поводу исчезновения Лилиан ван ден Вайден, а мне кажется, что именно об этом будет речь, ко мне? И, кажется, исключительно ко мне.

– Обращался ли я помимо вас еще к другим, господин пастор, вам неизвестно, буду ли я обращаться к другим – вас не должно интересовать, а к вам я обращаюсь по вполне объяснимой причине: вы здешний старожил. Живете на Суматре более десяти лет и, несомненно, прекрасно успели ознакомиться с местными нравами, обычаями, географией, одним словом, со всем тем, чем я не обладаю, но обладать, для успешного выполнения моего дела, должен.

– Так. Вы, случайно, не родственник знаменитого географа Малайского архипелага мистера Дж. Уоллеса?

Англичанин улыбнулся.

– То обстоятельство, что я его двоюродный племянник, и было решающим моментом в выборе меня Скотланд-Ярдом для выполнения трудного поручения, выполнить которое я и обязался.

– В чем заключается это поручение, если это не тайна?

– Найти леди Лилиан ван ден Вайден.

– Но ведь она, вне всякого сомнения, погибла?!

– Тогда доказать, что это действительно так.

– Еще один вопрос, мистер Уоллес: что заставило английское министерство внутренних дел заинтересоваться этой историей спустя десять лет после того, как она случилась? О чем вы думали раньше?

– Вероятно, все о том же, сэр. Я лишь агент Скотланд-Ярда и в секретные соображения министерства внутренних дел не посвящен: мне поручено, и я исполняю. Но, если вас могут интересовать мои личные соображения, то позволю

себе сказать, что Англия вообще никогда не торопилась в своих делах. Ей некуда торопиться.

Пастор Берман иронически улыбнулся.

– Ну, что же! Слушаюсь. Прошу вас теперь задавать вопросы: я готов отвечать.

– Я предпочел бы слушать, а не спрашивать, – сказал мистер Уоллес и корректно добавил: – оставляя за собой право, в неясных для меня местах, перебивать ваш рассказ.

Пастор Берман шумно вздохнул.

– Ну, как мне все это ни опротивело, я готов рассказать еще раз все, что знаю об этой глупой истории. Отчего вы стоите? Прошу вас, сядьте; рассказ длинен, я велю подать еще виски и содовую. Эй! Меланкубу! Сюда!

На зов пастора явился слуга, одетый в туземный костюм каин, т. е. просто опоясанный вокруг талии куском полотна, концы которого были просунуты между ляжками и закручены узлом на пояснице.

– Меланкубу звал господин?

– Да. Принеси еще содовой воды и виски.

– Меланкубу приносит виски господину или два господину?

– Нет, только гостю, – указывая рукой на мистера Уоллеса, сказал пастор. – А мне принеси, пожалуй, еще кофе пополам с желтым огнем. Ты знаешь?

– Меланкубу знаешь, – сказал слуга и исчез во внутренних покоях.

– Если я не ошибаюсь, ваш слуга выходец из Меланкабуа? – спросил мистер Уоллес.

– Да. А вы почему это узнали?

– Его выговор выдает его более культурное происхождение, – сказал мистер Уоллес и, как бы давая понять пастору, что, хотя он и новичок на Суматре, но ни провести, ни обмануть себя не позволит, закончил:

– Расовые отличия абенжеров, т. е. людей возвышенного края, от людей низменного края – лампонжеров, а уж конечно, и от дикарей из Лампоны – охотников за черепами, даяков, сундалезцев, бутиссов, совершенно диких пья-

вонгов и, наконец, лесных жителей, — слишком очевидны, чтобы можно было их спутать друг с другом.

— Да, да, — подтвердил сказанное пастор Берман, неприятно пораженный наблюдательностью и знаниями англичанина, — вы вполне правы!

Совершенно бесшумно, будто бархатом вода по полу, вошел Меланкубу и принес виски, содовую, кофе и коньяк, который назывался в здешних местах «желтым огнем».

Когда Меланкубу вышел, пастор Берман налил мистеру Уоллесу полный стакан освежающего и подкрепляющего напитка и, придвигая к себе свое кофе, снова шумно вздохнув, сказал:

— Итак, вы разрешите мне начать?

Глаза его исподлбья глядели на мистера Уоллеса, и голова была грустно опущена на грудь.

— Прошу вас.

Театрально вскидывая голову и приводя мистера Уоллеса в некоторое недоумение, внезапно, почти страстно, начал свой рассказ пастор Берман.

«Этому проповеднику положительно не хватает выдержки», — подумал Уоллес, окинув холодным взглядом пастора, начавшего повествование следующими словами:

— Ян ван ден Вайден появился в наших краях осенью 1905 года, когда с Тихого океана потянулись муссоны, открывая собой шестимесячный период дождей, прекращающихся лишь с началом сухих и прохладных северо-западных ветров. Атмосфера насыщается влажными и ядовитыми испарениями, и это время наиболее неблагоприятно для приезда на острова европейцев, а в особенности северян.

Приезд на Суматру старика с молодой дочерью, не связанных делами с Океанией, в такое время года, мне показался не совсем обыкновенным и нормальным. Большинство европейцев, прибывающих к нам осенью, почти тотчас же заболевают малярией, и жизнь очень многих угасает еще раньше того времени, когда ветры меняют свое направление.

Однако, по какой-то счастливой игре случая, ничего подобного со стариком и с его дочерью не случилось. Оста-

новившись на самое короткое время в Палембанге, городе на юге Суматры, расположенном по обе стороны реки Моэри, по которой поднимаются самые большие корабли, ван ден Вайден наметил себе путь к востоку и вскоре, держась первоначально южного берега Кампара, достиг реки Индрагира, по руслу которой и дошел до озера Сингарах. Местность эта принадлежит к числу самых нездоровых клочков земного шара, и даже населявшие ее когда-то дикие племена давно эмигрировали оттуда дальше на восток. Сейчас там безлюдная пустыня и, право, я затруднился бы ответить на вопрос, что могло заставить старого джентльмена совершить его безумный поступок!

Правда, для палеонтологов отлогие берега рек Индрагири и параллельных ей Кампара и Сиака – клад, так как текут они среди еще совершенно неисследованных третичных отложений, но Ян ван ден Вайден понимал в палеонтологии не больше, чем я в салонных танцах!

Вы извините меня за откровенное мнение, мистер Уоллес, но, должен вам признаться, у меня давно уже начало складываться убеждение, что сумасшедший старик определенно искал чьей-то смерти: либо своей, либо... Далее следы его несколько теряются.

Вскоре он появляется уже здесь, на озере Тоб, и я не ошибусь, если скажу, что пришел он сюда через Силалаги по реке Азахан. Достоверно я знаю лишь то, что этот безумный старик, совесть которого Господь обременил ночными тенями, успел перед тем, как попасть сюда, побывать на проклятой создателем горе Офир, а потом, отойдя к северу, пробраться в самую гущу непроходимейших на земном шаре лесов, населенных самыми дикими племенами, какие только существуют на всем божьем свете, ньявонгами, оранг-улу и оранг-лубу; лесов, кишящих тиграми, барсами, слонами, носорогами и необычайно редко встречающимися у нас гориллами, и потому считающимися у туземцев священными, в отличие от шимпанзе и оранг-утана, которых вы можете найти в любой местности Суматры, ядовитейшими змеями, малярией, ужасной болезнью «амок», вызывающей внезапное умопомешательство и мгновенное

превращение человека в зверя, — злого, рычащего и кусающего.

Вырвавшись из объятий этих лесных чащ, мой уважаемый соплеменник обосновался в районе озера Тоб, очевидно, вполне удовлетворенный дикостью горных баттов и их сородичей даяков, охотников за черепами, импонировавших своим промыслом в достаточной степени его просвещенному вкусу!

Пастор Берман на мгновение умолк.

Мистер Уоллес, развернув на коленях прекрасную карту Суматры — издание английского адмиралтейства, шаг за шагом следуя за рассказом пастора Бермана, чертил красным карандашом путь старика-голландца по почти неисследованным еще областям таинственного острова.

Ярко-красная черта на пепельно-сером фоне карты имела странный изломанный вид и от наблюдательного пастора не ускользнуло то обстоятельство, что карта была уже исчерчена синим карандашом, и синяя полоска была прямее, чем только что проведенная красная.

Пастор недовольно наморщил лоб и сказал:

— Если вам, мистер, придется когда-нибудь выслушать от кого-нибудь рассказ о путешествии ван ден Вайдена, я буду очень рад, если вы сравните оба рассказа между собой, хотя должен оговориться, что голландские власти, крайне смущенные исчезновением Лилиан, стараются упростить дело. Я же, ни в чем не заинтересованный в этой истории, отлично помнящий сумасшедшее метание старика по острову, — могу поручиться за правильность каждого своего слова.

Мистер Уоллес молча и сосредоточенно разглядывал карту и не обмолвился ни единым словом на замечание пастора.

Спокойно отрываясь от карты, он спросил, пристально разглядывая притупившийся кончик своего карандаша:

— Поскольку я вас понял, сэр Ян ван ден Вайден появился в ваших краях уже без дочери?

— Конечно, конечно! — быстро ответил пастор. — Желая восстановить картину путешествия ван ден Вайдена, я не

прервал своего рассказа в том месте, где исчезла Лилиан. История ее исчезновения — это тема совершенно самостоятельного повествования. Если вам угодно, я могу рассказать все, что знаю о том, как и где Ян ван ден Вайден облегчил свой багаж...

Строго поднятые брови мистера Уоллеса не дали красневшемуся пастору закончить фразу.

— Я извиняюсь за несколько неудачное выражение, — иронически произнес пастор и уже с раздражением добавил: — Однако, давайте кончать! Право, я боюсь, что мне снова сделается дурно.

Мистер Уоллес кивнул головой.

— К северу от горы Офир лежит единственная, проложенная голландским правительством дорога, ведущая к городу Паданг или «городу-цветку», как его здесь называют, самому очаровательному месту западного побережья Суматры.

— Я это знаю, — сухо сказал мистер Уоллес и резко добавил: — Я попросил бы вас на этот раз не бояться нарушить целостность рисуемой вами картины, быть более кратким и... и не забыть указать мне с достаточной точностью, где именно вы впервые встретились с леди ван ден Вайден.

Глаза англичанина были спокойны и строги.

Пастор Берман напряг всю силу воли, чтобы не ответить грубостью дерзкому англичанину.

— Мне кажется, вы немного горячитесь, мой молодой друг, а это может только повредить рассказу. Уверяю вас, что ни от вас, ни от кого другого мне нечего скрывать... Потерпите немного, и вы узнаете все обстоятельства этой истории. Я прошу прощения, но буду продолжать свою повесть по начатой уже системе. Итак, мистер Уоллес, я не солгу, если скажу, что город Паданг является настоящим цветком Суматры. Это центр, резиденция, так сказать, местной голландской аристократии. Паданг, по красоте да и по своему значению, уступает одной только Батавии, где, как вам известно, сконцентрированы все административные органы управления голландскими колониями и где изволит пребывать его высокопревосходительство господин генерал-гу-

бернатор, полномочный представитель моей августейшей повелительницы.

Пастор взглянул исподлобья на мистера Уоллеса, как бы желая убедиться, что его раздражающая медлительность достигает своей цели и что последняя фраза, подчеркивающая полную независимость пастора от английских властей, окончательно вывела непрошеного гостя из себя.

Но ни один мускул не дрогнул на каменном лице англичанина, когда он, почтительно привстав и приложив руку к козырьку шлема, скучно и холодно сказал:

— Yes!

Пастор разочарованно вздохнул.

— Итак, я продолжаю. В конце июля или в начале августа 1906 г., я уже точно не помню, мне пришлось, по делам своей паствы, отправиться в Батавию, откуда я и должен был на обратном пути посетить город Паданг, так как иначе не попасть в Менамбау, куда я должен был заехать перед возвращением домой. В Паданге сходятся две дороги: одна, ведущая, как сказано, в Менамбау, другая — на Офир. Я так долго затруднял ваше внимание Падангом, так как именно здесь, после восьмимесячного странствования его по острову, я и встретился с Яном ван ден Вайденом...

— И с его дочерью?

— Да, сэ, и с его дочерью!

Наступила минутная пауза.

Где-то далеко внизу, у поросшего лесом холма, раздалось рычание тапира. Мистер Уоллес почувствовал тяжелую удушливость воздуха.

— Будет гроза, — сказал пастор Берман. — Белый тапир, встречающийся только на Суматре и Борнео, всегда кричит перед грозой. В другое время палкой не заставишь его заговорить.

Мистер Уоллес взглянул на далекую цепь гор, над которой дрожали кровавые отсветы, увидел, как переползла, словно ящерица, с одной вершины на другую тяжелая, золотисто-зеленая молния, услышал еще далекий и гулкий, но грозный и долгий раскат грома — словно недовольное

рычание потревоженного зверя, – и, не меняя выражения лица, сказал холодно и скучно:

– Yes!

Пастор Берман внезапно заторопился.

– Разрешите, сэр, я закончу свою повесть. Когда разражается гроза, я серьезно болеваю. Мне нужен покой. Постараюсь быть кратким и опускать мелочи. Впрочем... это как раз совпадает с вашим желанием... Не правда ли?.. Ну, вот! Не могу не сознаться, что обстоятельства, при которых я познакомился с ван ден Вайденами, были совершенно необычны.

Прибыл я в Паданг почти ночью. Во всяком случае, я был достаточно утомлен, чтобы тотчас же, как только закрылась дверь номера за провожавшим меня швейцаром Hotel d'Amsterdam, приступить к приготовлениям, предшествующим сну.

Однако, не успев я достать из чемодана чистую ночную сорочку, как в дверь моего номера кто-то сильно постучал. Я только собрался еще ответить, как дверь уже оказалась открытой и вошел высокий, худой и жилистый старик, произведший на меня неприятное впечатление грубой, упрямой и непреклонной воли, как бы исходившей от всего его существа.

Он мне ярко напомнил сумрачную фигуру «Железного адмирала Адриана» со знаменитой картины Веласкеза или какое-то темное полотно Ван-Дейка. Я отлично помню, эти сравнения сразу же пришли мне в голову, лишь только я увидел его. Глаза его светились гневом из-под его седых, тонко, как серп месяца, очерченных бровей; у него был длинный, с горбинкой, тонкий, породистый нос и, я помню, меня поразили его руки. Они были красивы, выхолены, сухи, с длинными костлявыми пальцами, с надувшимися трубками вен. Они были надуты до того, что казалось, сейчас лопнут, и целым замысловатым лабиринтом, как толстой синей бечевкой, овивали его кисти. Мне думается, это признак сердечной болезни или постоянного гнева и раздражения. Гладко зачесанные назад волосы его были белы как снег, хотя можно было сразу сказать, что обладателю

их не больше пятидесяти лет. Одет он был в туго облегающий его тощую фигуру охотничий костюм, за поясом которого висели, с одной стороны, кривой охотничий нож в серебряной оправе, усыпанной драгоценными камнями, а с другой – кожаная кобура с торчащей из нее рукояткой кольта. В руке он держал хлыст.

Необычайно удивленный столь неожиданным визитом, я постарался не выдать своего волнения и спокойно попросил его сесть и объяснить мне цель своего прихода, если только он не ошибся и имел в виду свидание именно со мной.

Пастор снова умолк, видимо, переживая что-то очень волнующее. Через некоторое время он заговорил снова.

– Я должен вас заверить, мистер Уоллес, он был очень краток в разговоре со мной, – продолжал пастор, стараясь найти нужные краски для передачи того, что произошло, когда дверь его комнаты закрылась за неожиданным гостем. – Он сразу же отрекомендовался мне Яном ван ден Вайденом, и мне стало ясно, что я буду иметь дело с одним из родовитейших и богатейших людей не только моей родины, но, может быть, и большей части земного шара. Ян Ван-ден-Вайден – прямой потомок первого короля Нидерландов Вильгельма I, вступившего на престол в 1815 году после несчастного Людовика Бонапарта, насильственно посаженного на трон своим всемогущим братом, Наполеоном I, в 1806 г. Вся Суматра, я думаю, легко могла бы уложиться в одно из отделений объемистого кошелька этого человека.

Он с места в карьер ввел меня в курс дела, т. е., иначе говоря, объяснил мне цель своего внезапного вторжения ко мне.

Дело касалось его дочери, Лилиан... Ян ван ден Вайден сразу же сообщил мне, что я обязан чести его видеть исключительно капризу его дочери, желавшей во что бы то ни стало увидеть меня. Очевидно, с целью самооправдания, он и начал с биографии своей дочери.

Рано лишившись жены, он отдал свою единственную дочь Лилиан на воспитание в одно закрытое учебное заве-

дение, находящееся под покровительством самой королевы и в ведении одного из самых строгих монастырей.

Молодая девушка поражала своих воспитательниц послушанием и успехами, и уже шестнадцати лет блестяще закончила образование. По окончании учебного заведения, из которого в течение одиннадцати лет она никуда не выходила, Лилиан была доставлена к своему отцу, в его замок, находящийся недалеко от Амстердама. С этой минуты с молодой девушкой началось то странное и непонятное, что послужило причиной их посещения Суматры.

Ах, мистер Уоллес, вам этого не понять, может быть, но уверяю вас: дьявол никогда не спит и точно знает, когда надлежит напасть на намеченную жертву. О, как бдительны должны быть мы все, дабы избежать его злых и могущественных козней!

Леди Лилиан, перед которой открывался блестящий и заманчивый жизненный путь, вдруг совершенно неожиданно, не объясняя даже причин, категорически отказалась от всякой светской жизни, причем отказом этим не только огорчила, но и опозорила отца, так как, решив избавиться от светского общества, она стала вести себя крайне не предосудительно и вызывающе, я бы сказал, — даже непристойно. Конфуз следовал за конфузом. Вскоре на высочайшую милость ее величества королевы нидерландской, предложившей зачислить молодую девушку своей фрейлиной, она ответила отказом. Дело было замято только благодаря целому ливню золота, хлынувшему из кошелька ван ден Вайдена на тех, от кого зависело погасить пожар скандала.

Затрудняюсь вам сказать, сэр, кто более всего виноват, но участие отца в деле развращения своей дочери весьма вероятно. У вас в Англии девицы не пользуются столь широкой самостоятельностью, как у нас в Голландии, и вас, должно быть, удивят некоторые обычаи моей родины. Когда девушке исполняется семнадцать лет, ей преподносят сладкий пирог, обсаженный семнадцатью горящими свечами, а в пирог запекают... ключ от входной двери дома! Это символ ее полной самостоятельности с этой минуты.

Однако, я не ошибусь, если скажу, что старик ван ден Вайден оказался чересчур рьяным поклонником этого старинного обычая. Он понял его, по моему глубокому убеждению, слишком буквально.

И потом, одно дело ключ, а другое дело ключ, плюс никем не контролируемый поток золота в руках молодой девушки, уже успевшей показать свою некоторую, как бы сказать... неуравновешенность.

Деньги сыпались из рук молодой особы направо и налево, и, казалось, она взяла на себя невыполнимую задачу истратить все отцовское состояние. И отец ей в этом не препятствовал. Он, очевидно, знал, что с этой задачей ей все равно не справиться.

Правда, все деньги, расходуемые Лириан, шли на благотворительные цели, и, казалось бы, ничего дурного в этом не было; наоборот, можно было бы лишь приветствовать столь явно выраженную христианскую щедрость, если б... если б... мистер Уоллес, уверяю вас, не та странность, та, недостойная молодой девушки, экспансивность, с которой это все делалось, которая не могла быть оправдана даже льющим из рук Лириан золотым потоком.

Есть пределы всему, и нарушение самых элементарных правил приличия недостойно уважающего себя члена христианского общества. Одно дело продавать цветы, например, на благотворительных вечерах и базарах или, скажем, устраивать ясли для малюток, рожденных бедными, честными женщинами, состоящими в браке, освященном церковью и государством, ну – а ходить по ночам по разным вертепам и благотворительствовать падшим особам непристойного поведения, пьяницам, сифилитикам, – простите меня, сэр, это уже будет делом совершенно иным! А пристрастие Лириан к этого рода вещам развивалось с каждым днем все сильнее и сильнее... Азарт молодой девушки с минуты на минуту становился все непристойнее и непристойнее, и закончился, как и следовало ожидать, новым невероятным скандалом.

Вы знаете, мистер Уоллес, это была довольно грязная история, между нами говоря, и, если бы не то, что Лириан

давно погибла, я, щадя ее девичью репутацию, быть может, и отказался бы от передачи этого темного дела!

А дело заключалось в том, что в одно прекрасное утро жених молодой девушки, достойнейший молодой человек, личный адъютант его величества короля Бельгии Рупрехт фон Альсинг, встретил свою невесту при выходе из публичного дома! Легко понять, что объемистая чаша терпения старого ван ден Вайдена оказалась мгновенно переполненной, и разгневанный отец упрятал дочь в один из своих провинциальных замков под строжайшим надзором двух монахинь, специально с этой целью выписанных им из какого-то, славящегося своей строгостью, монастыря. Фон Альсинг оказался настоящим джентльменом и не только не поднял шума из-за этой грязной истории, но, наоборот, веря в чистоту своей невесты, щадя седины своего будущего тестя, не опозорил старика отказом от руки его дочери.

Но с девушкой продолжало твориться что-то неладное.

В заточении она стала быстро худеть и хиреть, и казалось уже, что история эта должна будет неминуемо завершиться страшной катастрофой. Ван-ден-Вайден чуть ли не со всего света выписал к тяжело заболевшей дочери профессоров и знаменитых врачей и совсем растерялся, узнав их диагноз. Больная, по мнению ученых, оказалась совершенно здоровой, исключительно хорошо развитой физически, правда, с несколько «экзальтированной» психикой, как выразился один из господ профессоров, но... это ведь не болезнь! В наше время экзальтированность молодых людей скорее правило, чем исключение! Ян ван ден Ванден, выслушав такой диагноз, не знал, что ему делать: удивляться, радоваться или негодовать?! На вопрос отца, что же он должен в дальнейшем предпринять для устранения этой самой «экзальтации» — ученые в один голос посоветовали ему увезти дочь куда-нибудь подальше, изменить условия жизни, которые могли бы не только развлечь молодую девушку, но и успокоить ее. По указанию этих же ученых старик избрал Суматру, как неплохое место для психической встряски.

Вот с этой-то целью, по словам ван ден Вайдена, он и таскал свою дочь по всем богом проклятым местам дьявольского острова, мотив, между нами говоря, мало убедительный для такого рода экспериментов! Боюсь, что в ваших глазах он не заслужит большего доверия, чем в моих!

Пастор Берман на секунду замолчал.

Потом, как бы очнувшись от какого-то тяжелого воспоминания, сказал с достоинством и твердостью в голосе:

– Тут, сэр, вы должны будете извинить меня, но дальнейшая беседа моя с Яном ван ден Вайденом носила только характер исповеди, что оглашать ее я не в праве, и ни вы, сэр, ни официальные власти не в праве меня заставить выдать содержание этой исповеди.

Пастор Берман не без гордости откинулся на спинку кресла и твердо взглянул в холодные глаза англичанина.

Трудно сказать, что прочел он в них, – только через секунду он, переводя свой взор, сказал более мягким тоном:

– Одно еще я могу сообщить вам, сэр, – это то, что эта беседа совершенно не относится к делу, и, если бы я даже и сообщил ее вам, это ни на йоту не могло бы способствовать успеху вашего дела...

Англичанин, казалось, крепко врос в свое кресло и не потрудился даже изменить позу.

И только после довольно продолжительной паузы он, резко вскидывая голову, спросил коротко и отрывисто:

– Однако, виноват, но вы-то лично видели Лилиан или нет?

– Да, сэр, я видел ее, – довольно просто сказал пастор Берман. – Я видел ее, и это обстоятельство до сих пор является самым тягостным воспоминанием моей жизни.

Должен вам сказать, сэр, что я был жестоко оскорблен молодой девушкой. Однако, если вам это угодно, я, не щадя даже своего самолюбия, готов передать вам все подробности этого тяжелого свидания и моего разговора с Лилиан.

Итак, сэр, Ян ван ден Вайден, окончив свой рассказ, довольно неожиданно для меня предложил мне пройти к его дочери.

На мой вопрос, чем я могу быть полезен молодой девушке, Ван-ден-Вайден ответил, что он и сам этого не знает и откровенно признается, что в желании его дочери видеть меня он усматривает новый каприз с ее стороны и ничего больше. «Для этого я и рассказал вам о характере моей дочери так подробно, – закончил старик разговор со мной. – Вы, как пастор, должны простить ее и, конечно, сумеете найти тему для разговора. Не отказывайте, милый пастор, в ее просьбе, иначе сумасбродная девчонка сама к вам придет!».

Я сделал большую ошибку, что уступил просьбам старика. Теперь я это ясно сознаю. Однако о свершенном нечего сожалеть, – к тому же мной руководили самые благородные побуждения!

Я далек от желания впасть в пафос, мистер Уоллес, но, клянусь вам: когда я впервые увидел Лилиан, я ощутил дьявола в себе. За всю мою почти двадцатилетнюю службу господу это случилось со мною один только раз – именно в ту минуту, о которой идет речь.

Когда я вошел в комнату, Лилиан лежала уже в постели. Было невероятно жарко, и Лилиан лежала, прикрытая лишь прозрачной кисеей светло-голубого цвета. Я клянусь вам, сэр: от нее исходили какие-то лучи сверхъестественной силы, и они были так сильны, что способны были убить. В ней сидел дьявол, сэр, дьявол, и он был страшно силен.

– Very well, – сказал англичанин, – это неинтересно. Вы разговаривали с леди?

– Да. Сперва я попросил ее прикрыть свою наготу. Она отказалась исполнить мою просьбу: «Я вас звала не для того, чтобы вы смотрели, а для того, чтобы вы слушали», – сказала она.

– Yes! Дальше?!

– Дальше я замолчал, – сказал пастор. – Я твердо верил в ту минуту, сэр, что под кисеей лежит дьявол, но я не мог не сознаться, что дьявол прекрасен!

Если бы вы знали, как искренно и горячо молил я Господа, чтобы он сжалился надо мной, как некогда сжалился

над св. Антонием, и лишил бы меня моих хорошо видящих глаз!..

– Милосердие господа на этот раз оказалось несколько двусмысленным, – произнес мистер Уоллес с иронией, но, быстро овладев собой, обратился к пастору голосом, полным непередаваемого бесстрастия: – Однако, оставим глаза в покое...

Пастор Берман, успевший уже привыкнуть к несдержанности и грубости своего гостя, продолжал, не обращая внимания на колкости своего собеседника:

– Лилиан не могла не показаться одержимой. Не успел я сесть, как она назвала меня ханжой, растлителем честных душ, насильником и, в конце концов, радостно объявила, что христианство, хотя и прививается вот уже две тысячи лет мечом, войнами, ложью, обманом и насилием, оно все еще, к счастью, не коснулось большей части людей, населяющих земной шар и оставшихся верными единому и вечному богу – самой природе!..

– Леди ван ден Вайден выказала довольно недурную аргументацию в этом споре, как можно судить из ваших слов, – заметил мистер Уоллес, – однако, смею вас заверить, ваше запоздалое самобичевание будет плохо оценено такими людьми дела, как я. Ничего более конкретного не произошло между вами?

– Сэр! – воскликнул пастор Берман, и в голосе его слышались гневные и грозные нотки профессионального проповедника, выведенного из терпения. – Сэр! Что же, вы полагаете, в самом деле, что уши нашего Господа глухи к мольбам его сынов?

– Заблуждение! Заблуждение, сэр! – теперь уже гремел пасторский голос. – Недостойное христианина, скверное, вредное заблуждение! Я был воистину лишен моим творцом всех органов чувств моих после сказанного молодой особой, я сумел победить дьявола в себе, – я встал и вышел.

– И это все? – разочарованно спросил мистер Уоллес, устремив свои стальные глаза на пастора.

– Да, это все.

– А что же затем случилось с леди Лилиан? – совершенно игнорируя победу пастора над дьяволом, спросил мистер Уоллес, давая понять, что услышанное для него уже не представляет интереса и что он желает знать только о дальнейшем.

– Я уже доложил вам, сэр, – не без раздражения, на этот раз сказал пастор: – я встал и вышел.

– Но ведь не вы меня интересуете, милый пастор, – невозмутимо ответил мистер Уоллес. – Вы не так поняли мой вопрос. Я интересуюсь знать, что стало с молодой леди?

– Это мне известно, вероятно, не лучше, чем вам. Дальнейшую судьбу ее я узнал случайно... и, если вам угодно, то конечно, я могу...

– Прошу вас.

Перед тем, как продолжать, пастор Берман вздохнул, достаточно ясно давая понять мистеру Уоллесу, как он ему надоел.

– Наутро, оставив свою визитную карточку внизу у швейцара, я, не попрощавшись с ван ден Вайденом, покинул Hotel d'Amsterdam, решив посвятить весь путь в Менанкабуа молитвам о спасении души грешной, заблудшей девушки.

– Скажите, пастор, – вдруг неожиданно спросил мистер Уоллес, – а разве для того, чтобы пробраться в Менанкабуа, необходимо проехать через форт Кок?

Пастор почему-то вздрогнул, с почти нескрываемой ненавистью взглянул на англичанина и ответил:

– Конечно, необходимости нет никакой. Форт Кок лежит в стороне... По дороге в Менанкабуа необходимо проехать лишь так называемую Буйволову расселину. Однако, мне несколько неясен ваш вопрос, мистер... мистер...

– Уоллес.

– Мистер Уоллес.

– Я вижу, что очень вас утомил, – сказал англичанин сухо, – раз вы уже забыли мое имя. Но я скоро освобожу вас от своего присутствия. Еще два-три вопроса. Извольте быть настолько любезным и ответьте мне на следующие вопросы: первый – вы не заезжали в форт Кок?

– Нет.

– Отлично. Второй: сколько времени ван ден Вайдены пробыли еще в гостинице d'Amsterdam после вашего отъезда?

– Они покинули ее в тот же день вечером.

– Very well! Понимаю. А... а Лилиан не заезжала на озеро Тоб?

Пастор Берман, несмотря на одолевавшую его духоту, как ужаленный, вскочил с кресла.

Он разразился целым градом ничем не обоснованных проклятий по адресу своих врагов и даже самого мистера Уоллеса и, наконец, успокоенный полным недоумением англичанина, сказал:

– Простите мою горячность, мистер Уоллес. Это нервы и ничего больше. Боюсь, я снова не совсем точно понял ваш вопрос и он вывел меня из терпения. Теперь я вижу, что ошибся, и приношу извинения. Конечно, ни Лилиан, ни отец ее здесь не были до катастрофы. Повторяю: в тот же вечер они отправились той же дорогой, что и я, но, не доезжая Буйволовоу расселины, внезапно углубились в непроходимые чащи лесов, минуя все дороги и пренебрегая всеми мерами предосторожности, намереваясь, очевидно, своим безрассудством укоротить путь, срезав дорогу, идущую вдоль этих лесов. Таким образом они рассчитывали сразу выйти на восточное плоскогорье.

Однако... это не удалось им. Т. е., вернее, удалось, благодаря какой-то непонятной случайности, одному лишь только ван ден Вайдену. Лилиан не вернулась из этой экспедиции. Двенадцать туземцев, сопровождавшие ван ден Вайденов, были убиты ядовитыми стрелами лесных жителей – их трупы были позднее найдены голландскими солдатами, – а Лилиан бесследно исчезла почти на глазах у своего отца.

Сам Ян ван ден Вайден рассказывает об исчезновении своей дочери следующее.

Экскурсия продвигалась гуськом. Впереди шли двенадцать туземцев. За туземцами следовал верхом сам ван ден Вайден, шествие замыкала Лилиан, тоже верхом на лошади. Катастрофа разразилась внезапно и с молниеносной бы-

стротой. Ван ден Вайден успел заметить, как споткнулся шедший впереди проводник, потом он почувствовал сильный удар в голову. С этой минуты он потерял сознание. Все дальнейшее представилось ему как в тумане и запомнилось весьма смутно. А запомнилось ему следующее: все проводники внезапно куда-то исчезли! Затем раздался крик его дочери, лошадь которой, испуганная выпрыгнувшей из-за кустов огромной и злой собакой (должен вам сказать, что все лесные жители имеют таких собак), вынесла всадницу далеко вперед крупным, почти бешеным галопом. Ван ден Вайден увидел свою дочь, выхватившую из кобуры револьвер, шагах в пятидесяти от себя, соскочившую на землю и бросившуюся куда-то бежать. Ее белое платье мелькнуло в густой зелени кустарника и... все кончилось. Лилиан исчезла. Старик, казалось, находился в столбняке. Управлять лошадей он не мог. Удивительно, как он еще продержался в седле столько времени... впрочем – уже через два часа умное животное вынесло его, еле живого, на берег реки Мазанг.

– Виноват, сэр, – все так же спокойно и без всякого недоумения в голосе спросил мистер Уоллес. – Я боюсь, что плохо понял или недослышал вас. Должен ли я думать, что лошадь ван ден Вайдена вынесла его из леса через два часа или через два дня?

– Конечно, через два дня, – хмуро ответил пастор. – Через два дня, сэр; я обмолвился. Кому же знать это лучше, как не мне! Ведь в свое время я тоже весьма интересовался этой историей.

Так вот, тут, на берегу Мазанга, Ян ван ден Вайден и свалился с лошади, уже окончательно лишившись сознания. Догадавшись о крупной награде, местные жители подобрали его и доставили голландским властям, находившимся неподалеку.

Мне остается добавить к своему рассказу еще немного. Ян ван ден Вайден передал полмиллиона гульденов местным голландским властям на поиски своей дочери. Целый полк голландских стрелков обшарил все окрестные леса, правда, по моему совету, не очень углубляясь в них. Но ведь

это было бы ничем не оправдываемой бессмыслицей: известно, что даже лесные жители живут только по опушкам. Но и эти поиски обошлись довольно дорого многим из их участников. Более сорока стрелков погибли в этих лесных экспедициях, кто от стрел, кто в волчьих ямах, кто в капканах лесных жителей, из которых удалось уничтожить лишь пять человек.

Я сильно разозлен всей этой историей, мистер Уоллес, (думаю, это обстоятельство не ускользнуло от вашего внимания), но, уверяю вас, я имел и имею к тому основание.

Из-за одного взбалмошного человека, потерявшего веру в Господа Бога, погибли десятки людей. Доверие местного населения ко мне, которым я все время пользовался, сильно пошатнулось ввиду того, что расквартировавшиеся во время похода в наших краях воинские части вели себя далеко не безупречно. А со времени переселения в мои края господина ван ден Вайдена я совершенно перестал владеть сердцами своей цветной паствы.

Покой их гор и лесов, покой их самих был грубо потревожен из-за одного пропавшего белого, в сумасшедшую голову которого забрела мысль вторгнуться в чащу лесов, куда даже они, местные жители, не осмеливаются забираться. Разве мало кругом безопасных дорог и путей? Это действительно глупая история. Но хуже всего еще то, что сам Ян ван ден Вайден, объявивший о крупной награде тому, кто найдет его дочь живой или мертвой, не нашел ничего лучше, как поселиться здесь под самым моим носом, пригласить бывшего жениха своей дочери Рупрехта фон Альсинга, подавшего, ради поисков своей горячо любимой невесты, в отставку, и... объявить войну всему живому! Это же безрассудство, сэр! Старик, в гнев своем на ничем не повинную перед ним природу, принялся зло и систематически уничтожать все живое, что ему только попадает под руку. Эту истерическую охоту свою, не прекращающуюся ни на минуту вот уже почти десять лет, он окрестил громким именем – мести за дочь!

Мне кажется, он совершенно уже потерял рассудок и больше не знает удержу своим инстинктам. Скоро он нач-

нет охотиться за туземцами, уверяю вас. Он начал с тапиров, диких кошек, кабанов и тигров. Эти звери ему показались вскоре недостаточно крупными и сильными, очевидно. Он перешел на львов, носорогов, убил двух слонов и... занялся крайне скверной штукой, сэр! Он начал преследовать человекообразных обезьян.

Я пробовал урезонить озверевшего старика, но он не особенно вежливо отклонил мое вмешательство: «Вам этого все равно не понять. В безграничном и систематическом уничтожении всего живого я черпаю новые силы для утоления своей печали. Я счастлив доказать глупой и дикой природе, что семизарядная автоматическая винтовка Ремингтона умнее, сильнее ее». Я предложил ему найти забвение в молитвах за упокой души его грешной дочери, но он заявил мне, что пока собственными глазами не увидит костей своей дочери, он не станет затруднять уши Всевышнего «гнусавыми» молитвами.

Мистер Уоллес улыбнулся, оскалил свои большие белые зубы и вдруг, с неожиданностью, заставившей вздрогнуть пастора Бермана, встал с кресла, как будто кто-то нажал на кнопку и освободил пружину, удерживавшую его.

Лицо англичанина приняло выражение бесконечной предупредительности и любезности, когда он сказал:

– All right! Я надеюсь, с моей стороны не будет нескромным, если я поинтересуюсь теперь узнать ваше личное мнение обо всей этой истории, дорогой пастор. – Пастор испуганно замахал руками.

– Мое мнение? Упаси меня Боже иметь какое-нибудь мнение во всей этой странной истории, мистер Уоллес. Тут можно предполагать вещи, которые легко могут привести к греху... Ясным остается лишь одно: Лилиан погибла, и искать ее – ничем не объяснимое безумие. Уверяю вас, что девятилетнее пребывание молодой девушки в лесах Суматры – срок вполне достаточный для того, чтобы восемь лет и одиннадцать с половиной месяцев молиться за упокой ее души, что, впрочем, я и делаю. Это моя обязанность, в конце концов. А отчего именно и как она погибла... – я не учился в Скотланд-Ярде, мистер Уоллес, я окончил духовную

академию, — это обстоятельство, вероятно, и заставляет меня, да простит мне Господь мой, частенько отгонять от себя грешные мысли о какой-то странной роли самого отца во всем этом деле, или...

Мистер Уоллес громко расхохотался.

— Положительно, милый пастор, вы правы, говоря, что в духовной академии ничему путному не научишься.

— Я этого не сказал, сэр, — обидчиво ответил пастор Берман. — Если мое мнение вам показалось смешным, незачем было осведомляться о нем. Чему бы, однако, вас не учили в Скотланд-Ярде, я не думаю, что нашелся бы безумец, отважившийся углубиться в непроходимые дебри наших лесов, в тщетной, если не сказать, сэр — глупой надежде отыскать хотя бы одну косточку погибшей Лилиан ван ден Вайден.

— Ну-с, сэр, после того как мы обменялись любезностями, — сказал мистер Уоллес, — разрешите вам доложить, что такой безумец нашелся. Ваш покорный слуга не уберется отсюда, пока не...

— Пока не погибнет в лесах Офира, — перебил пастор Берман. — Уверяю вас, другого выбора нет.

— Это покажет время, а пока разрешите мне искренне отблагодарить вас за ваше гостеприимство и за ценные сведения, пожелать вам всего наилучшего и, оставаясь вашим покорным слугой, раскланяться до следующего раза. Good bye, sir!

Как в железные клещи вложил мистер Уоллес в свои длинные пальцы пухлую, мягкую ручку пастора Бермана и сжал ее с такой силой, что бедный пастор чуть не вскрикнул от боли.

Мистер Уоллес легко сбежал вниз по лестнице с веранды пасторского домика, легко вскочил в седло своей лошади и тронулся в путь легкой рысцой по направлению к озеру Тоб.

Даль была ясна, и с пасторской веранды было видно на очень далекое расстояние.

Но не успел англичанин отъехать и полуверсты, как внезапно хлынул страшный ливень, бешено загрохотавший по

упругим листьям раффлезий и, как театральный занавес, скрыл от взоров пастора Бермана удаляющуюся фигуру мистера Уоллеса и все, что его окружало.

С наслаждением вдыхая принесенную дождем прохладу, пастор Берман с удовольствием представил себе мокрую фигуру дерзкого англичанина, наказанного Божьей десницей за свою непочтительность и чванство, поудобнее уселся в кресло и, сложив руки на животе, забормотал нечто вроде благодарственной молитвы Господу Богу; ее хорошо знакомый текст оказался превосходным средством, механически вызывающим сон.

Через пять минут пастор спал уже крепким сном утомленного праведника.

ПАСТОР БЕРМАН

Отец маленького Бермана, человек, уважаемый своими согражданами, а еще больше своей верной женой, был золотых дел мастером в маленьком земледельческом городке южной Голландии – Горинхеме.

Маленький магазинчик Ганса Бермана помещался почти на самой окраине городка, не доходя всего несколько шагов до крутого, обрывистого берега Вааля, катящего свои вечно пузырящиеся волны к широкому Маасу, за которым сразу начинались поля, усеянные мельницами, плод тяжелой, кропотливой работы упорного, трудолюбивого голландского крестьянина.

Поля начинались мельницей старого дедушки Утрехта и в безветренную погоду, когда дедушка сидел на камне у своей мельницы, а Ганс Берман на крылечке своего магазина, можно было переговариваться друг с другом, несмотря на то, что старый Утрехт давно забыл те времена, когда он еще хорошо слышал.

Понятно, что в такой дыре нечего было ждать больших доходов ювелиру, и Ганс Берман жил только редкими свадь-

бами да случайной починкой грошовых серег, колечек и брошек окрестных крестьянских щеголих.

Но никто никогда не слышал, чтобы Ганс Берман роптал на свою судьбу.

Рождение сына внесло в жизнь Ганса много шума и радости.

Будущий пастор с большой важностью подносил к си-неватому с некоторых пор носу почтенного золотых дел мастера одну за другой обе свои крошечные ножки, покрываемые жадными поцелуями счастливого отца.

Но... все это было так давно... — и, конечно, сам пастор Берман этого помнить не мог.

В дальнейшем его мать, «мутти Эмма», начала рожать все новых и новых наследников скромного достояния, но честного имени Ганса Бермана, и дела стали принимать уже совершенно другой оборот.

Жизнь дорожала, дела почти никакого не было, и не прошло и нескольких лет, как кроткая Эмма, выбившись из сил, в один темный осенний вечер молитвенно сложив на высосанной груди руки, отошла в иной мир, разумно и безропотно, как то и подобает доброй, тихой и благочестивой женщине.

Ганс Берман запил, и дальнейшие перемены не заставили себя ждать.

Лично для Руди перемены эти выразились в том, что нежная, розовая кожица его детских ножек сменилась загорелой и грязной кожей ног вечно рвущего свои сапоги мальчишки, и в том, что уважаемый золотых дел мастер не переставал добросовестно и честно повторять одну и ту же фразу, отчеканивая каждое слово:

— Если ты будешь так быстро рвать свою обувь, то я тебя, подлеца, в сапожники отдам.

Надо отдать справедливость покойному золотых дел мастеру, он не бросал на ветер своих слов, дело кончилось тем, что Руди действительно был отдан подмастерьем к старому Гельдеру — соседу и отдаленному родственнику.

У Гельдера Руди пришлось обосноваться надолго.

Вскоре после того, как Руди покинул родительский дом, мальчик остался круглым сиротой. Смерть унесла в могилу почтенного Ганса Бермана.

Сестер Руди приютили сердобольные соседи, а самого Руди взял на воспитание бездетный старый Гельдер.

Вскоре честный старик принужден был сознаться своей половине, с которой привык делить все свои мысли и чувства:

– Знаешь ли ты, мой друг? Из Руди никогда хорошего сапожника не выйдет, вот что! Человек, который способен износить в месяц пару самых крепких сапог, должен пойти по другой части. Я думаю, что если мне удастся сделать из него священника, – это будет не многим хуже, чем шить сапоги.

Так была решена участь Руди. Мальчика определили в школу.

Учение давалось Руди трудно, и не раз старому Гельдеру приходилось аргументировать свои нравоучения, на которые он не скупился, крепкими подзатыльниками и оттягиванием ушных раковин школьника.

Но судьба мальчика была предопределена. К двадцати годам Руди закончил образование.

Юношей он вырос довольно слабым и малокровным и удивительно равнодушным ко всему, что его окружало. Еще в школе учителя обращали внимание на это совершенно неестественное для ребенка равнодушие и апатию ко всему, с чем только мальчик приходил в соприкосновение. Как-то инстинктивно чувствовалось, что его тихое поведение могло быть объяснено только робостью.

Но наиболее странным в его поведении было отношение к женщинам. Он боялся девчонок и всегда постыдно ретировался перед ними. Завлечь его в игру, в которой принимали участие девочки, было делом совершенно невозможным. Казалось, что он испытывал настоящий страх перед женщинами, страх, выросший на какой-то болезненной почве. Будущий пастор ни разу не обнял и не поцеловал ни одной девушки; целыми днями он просиживал на большом пне тысячелетнего дуба, сломанного бурей, и

глядел на зеленые ивы в неведомую даль. В эти часы кажущегося «бездумия» сложился характер молодого человека.

Таким образом складываются характеры большинства безвольных и бесцветных молодых людей, предоставленных самим себе в деле духовного воспитания и развития.

Ни о чем не думать – это значит думать о самом страшном. И смутные, расплывчатые мысли молодого Руди, мысли, существование которых было ему самому неясным, шаг за шагом, минута за минутой, день за днем, – выковывали в нем тот странный и ненормальный взгляд на вещи, которым отличался характер Рудольфа Бермана.

Старый Гельдер был очень доволен поведением своего приемыша.

– Ну, чем же он уже теперь не пастор! – почти радостно восклицал он, хотя нельзя не сознаться, что минутами честный старик негодовал на своего питомца, стараясь скрыть это от посторонних, но про себя награждал молодого человека весьма нелестными эпитетами: «кастрированная курица», «тесто без дрожжей» или что-нибудь в этом роде.

Старик не мог не возмущаться. В эти минуты он вспоминал свою молодость и былые похождения.

– Да, да, так это именно все и было... ну-с, а потом, – тут уже старик выдавливал из себя нечто, напоминавшее вздох разочарованного человека: – а потом пришлось венчаться!

В этом месте воспоминаний сразу выплывал перед глазами образ фру Эльзы в том виде, в каком фру Эльза была в настоящее время, и почему-то этот образ являлся всегда в длинной ночной сорочке, с ночным чепцом на редких, жидких волосах.

Тогда Гельдер вздыхал еще раз, и в нем начинали шевелиться по отношению к Руди более мягкие и нежные чувства.

Затягиваясь крепко из своей длинной, прокуренной пенковой трубки, он меланхолически изрекал:

— Гм... что ж? Может быть, и прав молодчик! — и неизменно добавлял свою любимую фразу: — В конце концов, это все оказывается одним сплошным обманом!

Юноша Руди, незаметно превратившись тем временем в Рудольфа Бермана, к неопишному удивлению всех его знавших и даже к ужасу фру Эльзы, старавшейся видеть во всем что-то сверхъестественное, быстро закончил курс семинарских наук и, блестяще сдав экзамены, был посвящен в сан священника.

Вскоре пастор Берман прибыл в родной городишко.

Он сам, по своему усмотрению, избрал себе деятельность миссионера и наметил голландские колонии как арену своей предстоящей деятельности.

Приехал он в сонный Горингем всего на несколько дней, чтобы, может быть, навсегда покинуть родную страну непролазных болот, которые упрямыми руками человека превратились в изумрудные нивы, сады, желтые поля и пышные огороды.

Пастор Берман шагал по улочкам крупными шагами, смело и открыто глядя в глаза всем встречным.

Была весна, яблоня и вишня стояли в цвету, мохнатые крылья дедушкиной мельницы лениво кружились от теплого весеннего ветра. А вдали с веселым визгом, песнями, криком, постукивая деревянными подошвами сапог, новые люди — новые юноши и девушки вели хоровод.

Некоторых из них узнал пастор Берман.

Он помнил их еще детьми в запачканных, грязных платьицах, с черными, смешными, похожими на крысиный хвост, косичками за спиной, на которых никто-то и внимания не обращал!

А вот... вот они и выросли!

Как же это произошло?

Холодные мурашки медленно проползли за сутаной священника, неприятно раздражая затылок, шею и поясницу.

Что заставило молодого человека, сомневающегося в присутствии Бога, посвятить себя тому, во что он не верил?

В этом и была необъяснимая загадка его характера.

Тут уже сказалась и другая, не менее яркая сторона характера пастора Бермана – его доведенное до совершенства ханженство.

По приезде на Суматру началась новая, скучная жизнь, подкрепляемая черным кофе, разбавленным пополам коньяком, жизнь, протекавшая изо дня в день среди хитрых, коварных и непокорных язычников, чья связь с природой была еще так сильна, что оторвать их от нее могло только вековое насилие, обман, ложь и угроза, одним словом, все то, что принято подразумевать под словом «колониальная культура».

И так бы, вероятно, и окончилась эта скучная жизнь постоянно лгущего и никому не нужного человека, если в один прекрасный день бесцветная жизнь пастора Бермана вмешательством дьявола, принявшего образ нагой молодой девушки, не пошла по иному руслу.

ПОИСКИ МИСТЕРА УОЛЛЕСА

Мистер Уоллес, первоклассный сыщик, прошедший тяжелую школу Скотланд-Ярда, великолепно сознавал, что в пасторе Бермане он встретил очень сильного и умелого врага.

Ведь он, мистер Уоллес, только недавно прибыл сюда с желто-туманных улиц грохочущего Лондона, тогда как пастор Берман вполне уже акклиматизировался здесь, ознакомился великолепно с местностью, обычаями, настроением и нравами туземцев.

А это было так же важно для успешного ведения поисков, как и для успешного препятствования им!

Знакомству с ван ден Вайденом и его зятем мистер Уоллес почему-то не придавал большого значения.

Ему необходимо было проверить пастора Бермана и он, уезжая от священника, предложил ему не сообщать сэру ван ден Вайдену о происходившем между ними разговоре

и, конечно, не делать никаких попыток к тому, чтобы устроить с ним встречу, так как это может помешать успешно-му ведению дела.

Исполнение этой просьбы должно было показать, насколько пастор заинтересован в поисках Лилиан.

Вернувшись к себе домой, в маленькую деревушку абен-жеров, находившуюся в нескольких милях от северо-восточного берега озера Тоб, выбрав эту деревушку, как стратегическую позицию, откуда должен был начаться его поход, англичанин, не теряя ни минуты времени, принялся за необходимые приготовления к экспедиции в глубь Офир-ских лесов.

В Паданге и на Паоло-Брасе, где впервые высадился мистер Уоллес, местные голландские власти, любезно предоставив ему все имевшиеся по интересовавшему его делу сведения, достаточно ясно и определенно предупредили его, что никакой помощи с их стороны ему, мистеру Уоллесу, ожидать не приходится, что голландское правительство убеждено в гибели Лилиан ван ден Вайден, и дали понять, что всякая попытка проникнуть в чащи лесов северного Офира – не больше как безумие и глупость.

Не настаивая совершенно на предоставлении ему помощи, мистер Уоллес, тем не менее, выработав соответствующий план действия, твердо решил не отступать ни на шаг от намеченной цели.

Система англичанина была удивительно проста. Она заключалась в следующем:

Как ни страшны для него лесные жители и дикие звери, малярия и всевозможные яды, но и хинин и привезенные им с собой противоядия из университетской лаборатории Лондона, и автоматическое ружье Браунинга, отнимающее 1 1/2 секунды времени для перезарядки и заряженное сорока разрывными пулями, покидающими магазин ружья в 2 1/2 секунды, – гораздо могущественнее перечисленных зол.

И еще:

Туземцы трусливы. Рассчитывать на их помощь в темных лабиринтах непроходимых лесов Малинтанга и Паз-

мана совершенно не приходится. Но за большое вознаграждение их можно уговорить отправиться в самую гущу леса, хотя в решительную минуту девяносто девять из ста оставят «великого белого господина» одного, вместе с его хинином, противоядиями и автоматическим ружьем Браунинга.

Поэтому необходимо ехать если не одному, то в сопровождении одного-двух испытанных проводников. Но как и где их найти – этих проводников?

Мистер Уоллес и Скотланд-Ярд – это было одно и то же, и мистер Уоллес их нашел!

Дальнозоркий англичанин остановил свое внимание на самом диком племени ньявонгов, почти не имеющем общения с европейцами, на племени, вышедшем с острова Борнео, которое мало чем отличалось от подобных им лесных жителей Суматры – племен органг-улу и оранг-лубу.

Но именно в этом и должна была заключаться вся суть дела!

– Ваши слуги вас же первого и зарежут и отберут от вас ваше ружье, и, что хуже всего, – вашу голову, и скроются совершенно безнаказанными в лесах, пока не проберутся обратно к себе на родину, дорогой мистер Уоллес, – сказал англичанину на Паоло-Брасе старший полицейский чиновник голландского правительства, увидав двух обезьян, которых мистер Уоллес отрекомендовал ему как своих слуг и соучастников предполагаемой экспедиции.

Но англичанин только весело оскалил зубы.

– Oh ho! – сказал он, – я вам ручаюсь, что английский колледж может сделать из любого человека джентльмена! Я это говорю к тому, что тренировка моя с этими господами по особой системе Скотланд-Ярда сделала из обитателей ваших сказочных лесов вполне достойных носителей жетона тайной полиции. Уверяю вас, что убить меня значительно труднее, чем обучить обезьяну говорить по-английски. Кроме этого, прошу принять во внимание, что убивать меня, с той минуты, как мы погрузимся во мрак непроходимой чащи, этим господам будет меньше всего охоты. Они отлично понимают, что если им удастся завладеть не

только моим ружьем, стрелять из которого они все равно не умеют, но даже и моим черепом, то проиграют от этого только они одни. Располагай они целой батареей сорока-двухсантиметровых орудий, это все равно не спасет их в случае моей гибели.

Эта винтовка — только в моих руках винтовка, в их же лапах это весьма неудобная дубина для драки. Я нисколько не сомневаюсь, что вчера, и сегодня, и завтра, и каждый день, пока мы не вступили еще под своды лесов, эти господа не покидают надежды съесть меня живьем, что сделать совершенно невозможно, английское мясо очень плохо переваривается, но... но, как только мы вступим в лес и будем охвачены его таинственной сенью, эти обезьяны — мои лучшие защитники, которые будут мне желать только одного: настоящего бессмертия. А помощники они первоклассные: не забудьте, они сами лесные жители! Им известны все фокусы и ловушки своих сородичей. Они видят в темноте как кошки и лазают по деревьям как павианы. Вы не согласны со мной, сэр?

Голландский полицейский агент, взглянув снова на соратников мистера Уоллеса, не мог скрыть отразившегося на его лице отвращения.

— Сказать откровенно, сэр, — сказал он англичанину, — я не стал бы делать того, что делаете вы.

Слуги мистера Уоллеса могли внушить чувство не только отвращения, но и самого настоящего ужаса.

Оба они были ростом значительно ниже среднего, с руками, достигавшими коленных чашек. Туловища их были сильно согнуты вперед, что увеличивало еще больше длину безобразно болтавшихся рук. Короткие тонкие ноги с успехом заменяли им во многих случаях руки.

Их черепа были как бы срезаны лобной костью почти от самой переносицы, по направлению к затылку.

Черепа эти были лишены почти всякой растительности и украшались по бокам огромными мясистыми и сильно торчавшими ушами, а в центре — сплюснутыми носами и широчайшими, наружу вывороченными губами.

У самого лба, под мощно развитыми надбровными дугами, были вкраплены маленькие, звероподобные глазки, темные и жуткие, тускло отражавшие первые мучительные проблески мысли, зародившейся где-то в недостижимых глубинах маленького плотного мозга.

Одного из них звали Гутуми, и он очень гордился тем, что в правом ухе его, раздутом слоновой болезнью, величиной в небольшую тарелку, была воткнута ключица священной обезьяны.

Другой из слуг мистера Уоллеса, Макка – был скромнее насчет ушных украшений, так как в ушах его висели лишь обыкновенные серьги, правда, каждая весом в добрых 3/4 фунта, но зато ноздри его были соединены такой зияющей огромной дырой, что Макка мог просунуть в нее в любую минуту любой предмет толщиной по крайней мере в палец.

Итак, с помощью своих выдрессированных скотланд-ярдским стэком слуг, энергичные руки мистера Уоллеса быстро и умело закончили все необходимые приготовления к предстоящей опасной экспедиции.

Когда экспедиция собралась в путь, она имела следующий вид:

Впереди, одна за другой, грациозно выступали две зебры, на которых были навьючены тюки со всеми необходимыми принадлежностями этой «увеселительной прогулки», как окрестил ее сам мистер Уоллес, начиная от походных палаток и кончая банками с консервированным молоком.

Все, что только могло так или иначе понадобиться маленькой экспедиции, было зорко предусмотрено осторожным англичанином и аккуратно упаковано в самом строгом порядке, в соответствующих тюках и ящиках.

Помимо двух слуг, мистер Уоллес нанял еще шесть человек носильщиков-баттов, степенно выступавших гуськом один за другим с тяжелой кладью на голове сейчас же вслед за Гутуми. Шествие замыкал «великий белый господин» – мистер Уоллес, гордо восседавший на сытой, крепкой лошади. Это внушало к нему уважение и страх, так как лошади считались туземцами большой редкостью и необычайной роскошью.

Шестеро баттов с зебрами, нагруженными кладью, по прибытии к Буйволовоу расселине — исходному пункту углубления в лес, выбранному мистером Уоллесом после долгого размышления и изучения карты — должны были, разбив лагерь, остаться у этого исходного пункта, а мистер Уоллес с двумя своими ньявонгами, на другой же день по прибытии, углубиться в чащу таинственных лесов.

Рано утром тронулась маленькая экспедиция в путь, лежавший через озеро Тоб прямо вниз, к подножию гор, до столицы независимой Анинии, города Кота-Раджа, откуда шла удобная дорога через Менакабуа к Буйволовоу расселине.

Деревня, в которой жил пастор Берман, оставалась несколько в стороне слева, но мистер Уоллес решил включить и ее в свой маршрут, о чем счел нужным предупредить священника.

Когда маленький отряд приблизился к Саиби, к деревушке пастора, на узких улицах, обтянутых по краям колючей проволокой, заметно было какое-то необычайное, сразу бросающееся в глаза оживление среди собравшихся дикарей. Большинство дикарей были совершенно наги, только немногие носили так называемый саронг, т. е. короткую юбку до колен из жесткой и грубой материи, сотканной из древесной пряжи бамбука. Тут были и мужчины, и женщины, и старики, и дети.

Но что могло их так взволновать сегодня? Даже девушки, стыдливо стоявшие плотно сомкнутой группой несколько в стороне от мужчин и женщин, позволяли себе изредка бросать мужчинам кой-какие замечания, что позволялось обычаями баттов лишь в совершенно исключительных случаях жизни.

Старики стояли по краям дороги и что-то пронзительно кричали.

Гортанные и шипящие звуки вырывались из их ртов, как булькающий пар вырывается из кипящего котла.

Мужчины опоясали себя тонкими поясами, к которым были прикреплены острые, как бритва, кривые ножи, на-

зываемые туземцами «крисс», которыми одинаково удобно было и бриться и начисто срезать голову врагу

Воины махали в воздухе руками, вооруженными длинными копьями и, не осмеливаясь перекрикивать биринов, только изредка заглушали их визг негодующими возгласами, полными угроз и злобы по отношению к чему-то, так взволновавшему все племя.

Туземцы, сопровождавшие мистера Уоллеса, не ожидавшие встретить в столь ранний час такое необычайное оживление своих сородичей, с трепетом и испугом приближались к толпе, ибо представившаяся их взорам картина была им хорошо знакома и тайный смысл ее им был прекрасно известен.

Грозный окрик мистера Уоллеса заставил остановившихся было слуг снова двинуться в путь. Незаметным движением руки он отстегнул кобуру.

«Если это только начало, — подумал англичанин, — конец не должен быть очень хорошим».

В это время, как бы в подтверждение мелькнувшей в его голове мысли, один из носильщиков-баттов повернул голову в сторону мистера Уоллеса и несмело сказал:

— Они думают, белый господин едет убивать священную обезьяну. Они недовольны белым господином.

«Так и есть, — подумал мистер Уоллес про себя. — Каналья начал свою работу». — И вдруг, резко обращаясь к носильщикам, крикнул громко и властно:

— Пошел без разговоров! Плевать я хотел на твоих баттов. Ну? Или ты забыл, как свистит в воздухе мой стек?

И, хотя расстояние между ним и мистером Уоллесом было в несколько сажений, батт пугливо втянул голову в плечи, как будто первый предупреждающий свист страшного стэка уже раздался над его головой, и молча двинулся дальше.

Мистер Уоллес слишком хорошо знал, каких свойств и качеств характера бояться дикари больше всего и чем можно заставить их, сколько бы их ни было, беспрекословно себе повиноваться.

На самой главной улице деревни, куда уже успел вступить отряд англичанина, сопровождаемый целой толпой туземцев, ожесточенно осыпавших мистера Уоллеса целым градом угроз и ругательств и провожавших его взглядами, полными злобы и ненависти, собравшихся было еще больше, чем на боковых улочках.

Однако мистер Уоллес мог все же свободно объехать эту возбужденную толпу, сгрудившуюся в середине улицы, оставляя незанятыми ее края.

Но теперь англичанину этого сделать уже нельзя было.

Лошадь англичанина коснулась мордой первого из этой толпы, и не успела густая белая пена упасть с ее удила на обнаженную грудь туземца, как в ту же секунду поднятый стек мистера Уоллеса, молниеносно взвившись в воздухе и два раза жутко просвистев над толпой, опустился на голову батта, рассекая в кровь туго обтянувшую выбритый череп кожу.

И мгновенно вся эта страшная толпа диких, вооруженная копьями, стрелами и острыми ножами, в страхе шархнулась в стороны, низко наклоняя втянутые в костлявые плечи головы, как бы защищаясь от страшных ударов, и молча очистила в самой своей середине прямой, как стрела, путь белому господину.

Стек мистера Уоллеса еще несколько раз просвистел в воздухе и, склоняясь то направо, то налево, рассек еще несколько ушей, носов и губ.

Огромные буйволы, исполняющие у баттов сельскохозяйственные работы и тут же ревевшие в общей толчее и давке, смолкли, вращая огромными белками страшных глаз, и провожали тупым и испуганным взглядом всадника, боязливо пятясь задом на колючую ограду улицы.

Проводники мистера Уоллеса были злобно возмущены кровавой расправой англичанина с их сородичами и молча сжимали кулаки.

Одни только ньявонги – Макка, брат великого вождя, и гордый своею обезьяньей костью Гутуми – были явно на стороне своего белого господина, выражая свое довольство радостным хихиканьем, отвратительно обнажая свои чер-

ные и сгнившие зубы, торчавшие в звериных провалах их нечеловеческих ртов.

Вскоре однако одному из них пришлось убедиться, что стек мистера Уоллеса вещь, с которой всякому надлежит обращаться с осторожностью.

Маленькая экспедиция продолжала медленно продвигаться вперед.

Поднявшись на небольшой холм, спустя некоторое время после того, как деревня баттов скрылась из вида, потонув внизу в кущах дикой акации, экспедиция свернула к северо-западу и, вытянувшись длинной гусеницей, начала осторожный спуск вниз к видневшемуся уже вдали маленькому поселку, окруженному кольцом раффлезий, где жил пастор Берман в приятном соседстве с голландскими представителями власти Силлалагского округа и Яном ван ден Вайденом, также нашедшим себе пристанище всего в нескольких милях отсюда.

Когда окончился спуск, началась небольшая равнина, густо поросшая гамбиром, издающим сильный и пряный аромат.

От самого подножия холма и до самого поселка белых тянулась извилистая тропинка, проложенная в этих густых зарослях гамбира, извивающаяся как ящерица и изобиловавшая многочисленными крутыми поворотами.

Не успела голова отряда скрыться за одним из таких поворотов, как Макка с ловкостью, которой могла бы позавидовать самая проворная обезьяна, быстро нагнулся и, засунув руку в куст, поднял что-то, сверкнувшее в его руке под лучами ослепительного солнца.

Макка проделал свой маневр так быстро, ловко и неожиданно, что никто из баттов не заметил его движения и, чихни бы, например, мистер Уоллес в эту секунду, он также ничего не сумел бы увидеть.

Но проклятый англичанин, казалось, был способен видеть и слышать каждой клеточкой своего тела, и молниеносное движение ньявонга им было замечено. Не успел еще Макка засунуть в рот новую порцию «сири», как галопом подскакавшая лошадь мистера Уоллеса была уже рядом с

ним и свистящий стек англичанина тонко рассек воздух около самого его уха. Это было предупреждением дикарю, который понял несколько превратно то обстоятельство, что мистер Уоллес не ударил его.

– Отдай, негодяй, немедленно то, что ты только что достал, – сказал англичанин, не опуская поднятой над головой Макка руки.

Но вместо исполнения приказания, Макка нагло взглянул в глаза Уоллеса и гордо ответил:

– Мой ничего не поднял. Белый господин – большой господин, и белый господин хорошо делал, что не бил Макка, брата великого брата, который тоже очень большой и скоро будет...

Окончить эту длинную фразу Макке, однако, не пришлось.

Два раза, крест накрест, перекроил стальной стек англичанина черное лицо меланезийца-островитянина, оставляя на нем кровавые полосы.

– Один удар тебе, другой твоему брату, от имени которого ты слишком много болтаешь, скотина, – спокойно сказал мистер Уоллес и, уже повышая голос, грозно добавил:

– Ну! Живо! Отдавай!

Макка не сдавался.

Еле сдерживая себя, чтобы не наброситься на своего белого господина и тут же не покончить с ним, он, оскалив зубы, еще наглее крикнул англичанину:

– Твоя, великий англез, голова будет хороший дар, когда ее привезет Макка великому вождю ньявонгов.

Мистер Уоллес знал: ни единой секунды слабости или промедления! Ничто не спасет его в настоящую минуту, если он выкажет хоть малейшее колебание или нерешительность.

То, что сверкнуло в руках Макка, прежде чем он успеет опустить предохранитель с автоматического затвора револьвера, срежет ему голову, которую, уж конечно, «очень будут уважать» в среде лесных жителей.

Но стратегическое положение мистера Уоллеса было не из блестящих, и он это отлично сознавал. Впереди был

Макка, с левого фланга расположился подошедший Гутуми, а сзади плотно обступили его лошадь шестеро баттов – все достаточно озлобленные за произведенную им только что расправу в их деревне.

Мистер Уоллес взглянул направо и убедился, что гамбир рос такой густой стеной, что его лошадь неминуемо должна будет споткнуться, если он вздумает пустить ее по этому направлению.

Прошла одна томительная секунда.

Вторая секунда бездействия могла быть уже гибельной для мистера Уоллеса.

Сохраняя полное спокойствие на лице, не дрогнув ни единым мускулом, англичанин, как бы не замечая столпившихся сзади баттов и стоящего слева Гутуми, продолжал наезжать лошадью на дерзкого слугу, желая дать почувствовать дикарям, что в расправе с ними он отнюдь не нуждается в помощи огнестрельного оружия. Молниеносно замелькавший стек буквально завизжал, и целый поток ужасных ударов хлынул на голые плечи, грудь, спину и голову дикаря, оставляя на темно-бронзовой коже белые полосы.

Через несколько секунд Макка уже валялся на земле и, корчась от боли, пронзительно вопил, стараясь не попасть под копыта лошади.

Удары продолжали падать на дикаря, и в коротких промежутках между этими как бритва режущими ударами, Макка ясно мог слышать спокойный голос англеца, нагнувшегося с седла всем корпусом к нему и твердившего, как попугай, одну только короткую фразу:

– Отдай, скотина, то, что ты поднял!

Наконец, Макка взмолился о пощаде.

Когда ливень ударов несколько ослаб, он, все еще содрогаясь от боли, молча встал с земли и, не заставляя уже больше мистера Уоллеса повторять приказание, вытащил спрятанный в одной из складок своего кайна остро, как бритва, отточенный крисс, который и подал англичанину.

Мистер Уоллес спокойно принял из рук Макка оружие и, как ни в чем не бывало, сказал:

– Ну, по местам все. Живо! И помнить: если хоть еще раз повторится что-либо подобное, я бить уже больше не буду. Я просто застрелю как собаку того, кто осмелится мне не повиноваться. Вперед! Марш!

Дикари молча повиновались.

Однако спокойствие мистера Уоллеса было только внешним, в нем дрожал каждый нерв, и он едва не вскрикнул, когда, мельком взглянув на крисс, узнал его не местное, а европейское происхождение.

Английские контрабандисты с Малакки доставляли это оружие береговым жителям островов Океании взамен на опий и листья кокки, и то, что нож подобного происхождения очутился здесь, в самом центре Суматры, да еще спрятанным кем-то, очевидно, сообщником Макка, в кустах той дороги, по которой мистер Уоллес должен был ехать, – было крайне загадочно и неприятно.

«Нож положен сегодня утром, – подумал мистер Уоллес, нервно сжимая в кулаке свой стек. – Вчера вечером шел дождь – на лезвии ножа нет ни единого пятнышка ржавчины...» Он вдруг громко крикнул, прерывая свои мысли:

– Стоп!

Батты и ньявонги остановились, и мистер Уоллес, быстро спрыгнув с лошади, зачем-то нагнулся у самого края дороги.

Когда он выпрямился, в его руках был самый обыкновенный прутик, на котором он сделал карандашом какие-то пометки, сказав при этом удивленным его поведением дикарям несколько сконфуженным тоном:

– Уползла, проклятая. А жаль. Это была летающая ящерица.

Вскоре весь отряд вышел на более широкую дорогу и вддали уже ясно обозначились строения, среди которых, несколько возвышаясь над остальными, изящно выделялся своими очертаниями домик пастора Бермана.

Не прошло и получаса, как мистер Уоллес подъезжал уже к самой веранде миссионера, вышедшего навстречу

прибывшим и приветливо махавшего мистеру Уоллесу рукой.

Однако мистер Уоллес на радушное приветствие священника ответил сухим кивком головы, небрежно и сухо дотронувшись рукою до полей своего шлема.

– Я надеюсь, дорогой мистер Уоллес, – слащаво сказал пастор, – вы не откажете сойти с лошади и подкрепиться у меня виски с содовой перед рискованным путешествием, которое вы так неосторожно решили предпринять, невзирая на мои увещевания и предостережения. Я не устаю молить Всевышнего, чтобы он вразумил вас и остановил на пути вашего безумия.

– Вы плохо молитесь, милый пастор, – иронически процедил мистер Уоллес. – Ваши молитвы, как видите, не слышаны Всевышним. Впрочем, от стакана виски я не откажусь, если вы прикажете вашему Меланкубу подать мне его.

– Так слезайте с лошади.

– Благодарю вас. Я предпочел бы выпить, не слезая с седла.

– Как угодно, сэр. Эй, Меланкубу, виски сюда. – Пастор хлопнул в ладоши, и, подойдя к перилам веранды, облокотился на них, добродушно глядя вниз на мистера Уоллеса.

Не прошло и минуты, как Меланкубу принес бутылку с виски и два стакана. Сойдя вниз, он подошел к мистеру Уоллесу и стал наливать напиток в стакан.

Не успел он, однако, долить стакан доверху, как вдруг пронзительно закричал, и, выронив из рук поднос, с гримасой боли схватился за ногу. Бутылка упала, и виски, булькая, янтарной струей стало вытекать из нее, стаканы со звоном и грохотом разбились о камни дороги.

Лошадь мистера Уоллеса, внезапно чего-то испугавшись, взвилась на дыбы и, осаждаемая железной рукой всадника, с силой опустила копыто на голую ступню Меланкубу.

Несчастный слуга буквально выл от боли.

Мистер Уоллес собственноручно наложил на ногу раненого повязку. Кости не были повреждены. Уоллес дал ту-

земцу золотой, прося извинить его, как невольного виновника происшествия.

От предложенного вторично виски мистер Уоллес наотрез отказался, уверяя, что вся его жажда успела пройти.

Еще несколько ничего незначащих фраз, и мистер Уоллес снова очутился в седле и, разбирая поводья, сказал, не желая на этот раз решительно никого обидеть:

– Дорогой пастор, теперь, простившись с вами, что я считал, между прочим, своим долгом, я прошу вашего благословения и пожелания мне скорейшего успеха в достижении намеченной мною цели.

Англичанин остановился. Внезапно он прочел в глазах пастора Бермана столько непримиримой, почти нечеловеческой злобы, что ему показалось, что кто-то сдавил ему горло.

А пастор, меняя злобное выражение своих глаз на выражение ангельской кротости, сказал довольно нелюбезно, но без оттенка ненависти или раздражения:

– Молчание мое будет вам сопутствием, сэр. Я не могу благословлять безумия. Вы должны извинить меня.

Мистер Уоллес, на мгновение забывая, что он англичанин, не сдерживая себя, почти бешено крикнул:

– В конце концов, мне безразлично ваше мнение о моем поступке, дорогой мой! – И вдруг, меняя тон, спросил жестоко и деловито: – Вот еще что, милый пастор, скажите: вы никогда не вели дневников?

Пастор опустил на ступеньки веранды. Ноги его сами подкосились, и лицо было залито хлынувшей к голове кровью, и, несмотря на начинавшуюся нестерпимую жару, холодный пот проступил на его лбу и висках. В эту минуту он был по-настоящему жалок.

– Фу! – тяжело вставая со ступеньки, вздохнул пастор Берман, и, понемногу приходя в себя, виновато сказал: – Прошу извинения, сэр, нет ничего удивительного, что мне стало худо. Я вчера проехал более ста верст верхом, почти всю ночь не спал и чересчур накачался черным кофе. Ах, эта проклятая сердечная слабость – она доведет меня когда-нибудь до могилы. Я уже перестаю выносить первые солнеч-

ные лучи. Еще раз прошу прощения, сэр. Не откажите повторить еще раз ваш последний вопрос? Эта неожиданная дурнота помешала мне расслышать его...

Мистер Уоллес чуть заметно улыбнулся. Настоящий ответ пастора на свой вопрос он уже получил, а потому повторил вяло и неохотно:

— Ничего особенного, сэр. Я интересовался, не ведете ли вы дневника?

— Дневника? — удивился пастор. — Да что это вам вздумалось, дорогой мой мистер Уоллес? Уж не принимаете ли вы меня за институтку, чего доброго? И вообще, какое это имеет отношение и связь с вашей экспедицией, я не понимаю!

Мистер Уоллес весело расхохотался.

— Да очень просто, — сказал он. — Если бы вы вели дневник, я попросил бы вашего разрешения взять его с собой. Я более чем уверен, что почерпнул бы из него целую кучу полезных для себя сведений о нравах, обычаях и географии тех местностей, куда я держу путь. Только и всего, но... вот и сэр ван ден Вайден торопится на ваше приглашение, сэр, которое я вас просил не делать...

— Я ничего им не передавал, мистер Уоллес, уверяю вас, — сдвинув брови, сказал пастор. — Если вы пожелаете остаться еще немного у меня, вы сможете лично спросить об этом старика. Он узнал о вашем прибытии, очевидно, из других источников.

— Весьма возможно, — снова улыбнулся англичанин и, поворачиваясь к пастору Берману спиной, скомандовал своему отряду строиться и двигаться в путь.

Пастор Берман взглянул на большую дорогу и действительно увидел в облаках пыли двух скачущих по направлению к его дому всадников.

И не успел он еще что-то сказать в свое оправдание, как мистер Уоллес, трогаясь уже в путь, снова, словно ударами своего стального стека, больно хлестнул его по ушам:

— Как джентльмен, я должен предостеречь вас, милый сэр, от ваших же непростительных ошибок в борьбе со мной, из которых самая главная это та, что вы постоянно забы-

ваете, что имеете дело с работником Скотланд-Ярда. Эй, Макка, вперед!

И, пропустив мимо себя своих слуг, мистер Уоллес, прищипорив лошадь, тронулся в путь вслед за ними, вежливо приподняв над головой свой окутанный голубой вуалью пробковый шлем.

Пастор Берман ничего не ответил. С тонкой усмешкой на побледневших губах он повернулся в сторону подъезжавших гостей, зло подумав: «Н-ну, мы еще посмотрим – не окажется ли умный англичанин во сто крат глупее голландских дураков!».

И на лице его заиграла добрая улыбка гостеприимного хозяина, когда он приветствовал слезавших с лошадей Яна ван ден Вайдена и Рупрехта фон Альсинга.

РУПРЕХТ ФОН АЛЬСИНГ ПРИНУЖДЕН ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ

Старик ван ден Вайден соскочил с коня проворнее, чем это сделал бы восемнадцатилетний юноша.

– Ах, какая досада! – воскликнул он. – Я, кажется, опоздал немного к назначенному сроку, и ваш таинственный англичанин изволил уже испариться?

Ван ден Вайден бросил поводья подбежавшему Меланкубу и, подымаясь на веранду, сказал еще раз:

– Ах, какая досада!

Но в голосе его не было ни единой нотки досады, наоборот, в нем скорее можно было уловить оттенок насмешливости и сарказма.

– Пятью минутами раньше, и мы застали бы этого английского чудака, – в тон ему проговорил фон Альсинг, подымаясь вслед за стариком к пастору Берману на веранду.

– Это не поздно еще сделать, дорогие друзья, – сказал пастор Берман. – Мистер Уоллес не успел еще отъехать и полумили. Вы быстро могли бы догнать его на ваших конях.

Я и советовал бы вам это сделать. Мистер Уоллес был бы крайне счастлив встрече с вами...

— Да? — безразлично спросил ван ден Вайден и нахмурил свои брови.

Положительно, пастору сегодня не везло. Никто из его собеседников не был настроен на шутки.

— Послушайте-ка, любезнейший, — сказал старый джентльмен. — Откровенно говоря, мне не только не понятны, но и крайне подозрительны те совершенно неприличествующие вашему сану интриги, которые вы начали плести вокруг поисков моей дочери. Вы, — это совершенно ясно для меня, — чините всевозможные препятствия всяким попыткам, идущим в этом направлении. Одно время вы поприутихли, как будто. Сейчас, когда я снова обретаю надежду найти свою дочь, ибо я не могу предположить, чтобы Скотланд-Ярд взялся за это дело без всяких на то оснований, когда к нам, сюда, на Суматру, является лицо, коему эти поиски поручены, — вы снова принимаетесь за старое, и ваши первые же шаги в этом направлении довольно явно обнаруживаются в возмутительном желании поссорить меня с мистером Уоллесом. Может быть, вы не откажете дать мне краткий, но исчерпывающий ответ по этому поводу?

— Да простит вам Господь ваши злые слова, сэр! — почти томно сказал пастор Берман с опечаленным видом несправедливо обиженного человека.

Но, если мистер Уоллес всегда умел вовремя вспомнить, что он англичанин, то ван ден Вайден, горячая необузданность и дерзкая независимость которого были хорошо всем известны, был совершенно лишен сдержанности.

— Вот что я вам доложу, мой дражайший, — сказал он довольно тихо, ударив однако при этом о стол крепким и жилистым кулаком. — Приберегите-ка лучше ваш мармеладный тон для воскресной проповеди, а мне потрудитесь ответить человеческим языком на этот документ!

С этими словами Ван-ден-Вайден вытащил из кармана сложенный вчетверо лист почтовой бумаги и без всякой церемонии сунул его прямо в нос отступившему на шаг пастору.

Миссионер взял в руки документ и, стараясь скрыть свой гнев и волнение, молча и не торопясь, усевшись в свое глубокое кресло, развернул бумагу и принялся за чтение.

Ван ден Вайден и фон Альсинг уселись против него, и на веранде воцарилась на время полная тишина, прерываемая лишь назойливым жужжанием больших зеленых мух, отливавших всеми цветами перламутра на ослепительных лучах почти до зенита поднявшегося солнца.

В то время как Ван-ден-Вайден не спускал с читающего глаз, фон-Альсинг, глубоко затягиваясь сигарой, что-то насмешливо мурлыкал себе под нос.

Документ, с которым познакомился пастор Берман, оказался письмом мистера Уоллеса к Яну ван ден Вайдену.

Вот что прочел пастор, стараясь сохранить полное спокойствие на своем гладко выбритом и начинавшем уже жиреть лице:

«Глубокоуважаемый сэр!

Я отлично понимаю, что выбранный мной способ знакомства с вами у нас, на континенте, самым невзыскательным человеком с полным основанием мог бы быть отнесен к разряду, по меньшей мере, поступков неприличных и недостойных джентльмена.

Но здесь, сэр, на островах, учитывая некоторые обстоятельства, оглашать которые я не могу, дело обстоит несколько иначе, и я надеюсь, вы извините меня, что, находясь от вас всего в нескольких часах езды, я вынужден познакомиться с вами не лично, а посредством настоящего письма.

Меня зовут, сэр, Стефеном Уоллесом, а мое социальное положение – старший агент Скотланд-Ярда, начальник отделения по особо важным преступлениям.

Цель моего приезда на Суматру – поиски вашей дочери, мисс Лиллиан ван ден Вайден, гибель которой я поз-

воляю себе поставить под некоторое сомнение, несмотря на почти десятилетнюю давность ее таинственного исчезновения.

Если вы, сэр, доверяете мне (конечно, не мне лично, мистеру Уоллесу, которого вы не знаете, а мне – старшему агенту Скотланд-Ярда) в достаточной степени, что-бы выполнить некоторые мои требования, то потрудитесь их прочесть и запомнить.

Вот они:

1. Временно, хотя бы в продолжение моей экспедиции в глубь офирских лесов, прекратить охоту на человекообразных обезьян.

2. Ни в коем случае не пытаться со мною видаться.

3. Явиться на приглашение пастора Бермана посетить его девятого числа с/м. в десять часов утра, которое, по всей вероятности, вы получите ровно на пятнадцать минут позже указанного срока.

4. Твердо помнить, что кроме приветствий, я, Стефен Уоллес, никогда никаких поручений через упомянутого пастора Бермана вам не передавал и передавать не буду.

Это все, сэр. Возможно, что настанет время, когда я сам попрошу вас о личном свидании, – пока же оно совершенно излишне.

Прошу вас твердо верить, что только в выполнении, самом строгом и безоговорочном, выставленных мною требований – верный залог успеха предпринятых мною, по поручению Скотланд-Ярда, поисков.

Остатось, сэр, с глубочайшим почтением и преданностью

Стефен Уоллес.

Р. С. Если вы найдете нужным, то письмо это можете показать господину пастору Берману.

С. У.».

Пастор Берман дочитал письмо, аккуратно сложил его так, как оно было сложено раньше, и, подавая его ван ден Вайдену, сумел подавить в себе охватившее его волнение и злобу настолько, что сказал с полным спокойствием и достоинством в голосе:

— Любопытный документик, великолепно характеризующий зазнавшегося английского негодяя и авантюриста. Неужели, любезный друг, вы серьезно требуете от меня объяснений по поводу этих инсинуаций?

Пастор Берман вскинул на ван ден Вайдена свои заплавленные жиром глаза и еще раз воскликнул:

— Ведь это же настоящий шантаж! Я не понимаю, чего хочет этот молодчик и зачем он стремится выставить меня перед вами в таком свете. Он просил меня написать вам приглашение, что я и сделал. Впрочем, я предпочту молчать, ибо убежден, что вы требовали от меня объяснений по поводу этой провокации не серьезно, дорогой друг!

— Ван-ден-Вайден никогда ничего несерьезного не делает, — нахмурил брови старик. — Я не думаю, чтобы мистер Уоллес позволил себе по отношению ко мне что-нибудь несоответствующее действительности. Вами же я бывал уже не раз околпачен.

— Что же! — прервал пастор Берман не стесняющегося в своих выражениях ван ден Вайдена. — В таком случае, вы разрешите сообщить вам, что с настоящей минуты моя роль гостеприимного хозяина по отношению к вам окончена!

— Виноват, пастор, — вмешался в разговор фон Альсинг, не давая возможности ван ден Вайдену, за дальнейшее поведение которого он начинал уже беспокоиться, ответить на последнюю фразу миссионера, — бросьте ваши вечные пререкания друг с другом и объясните-ка мне лучше, почему в ближайшей деревне такое необычайное волнение?

Пастор Берман, не учуяв расставляемой ему снова ловушки и решив, что фон Альсинг хочет своим не относящимся к делу вопросом просто спасти создавшееся положение, ответил охотно и любезно:

– Эти дикари, сколько я им ни говорил о мерзости их поведения, продолжают праздновать каждый раз наступление половой зрелости у своих девушек.

Фон Альсинг позвал своего слугу, занятого вместе с Меланкубу у лошадей:

– Пит, пойди сюда!

Рослый ачинец, красивый, мускулистый, с открытым мужественным лицом, в венах которого текла чистая индусская кровь, упруго пружиня мышцы своих великолепных ног, поднялся на веранду и, не доходя нескольких шагов до своего господина, почтительно остановился и, прикладывая протянутую вперед руку к земле, спросил на ачинском наречии:

– Господин звал своего слугу?

– Да, Пит. Скажи мне, милый друг, просил ли я тебя сегодня, когда мы проезжали деревню баттов, узнать о причинах их необычайного волнения?

– Господин просил своего слугу об этом и слуга господина тотчас же использовал его приказание.

– Какой ответ ты передал мне, Пит?

– Батты очень волновались, когда говорили с твоим слугой, господин. Батты сказали Питу, что великий белый помощник Бога приезжал к баттам и сказал баттам, что приехал белый англез, который отправляется в леса Пазаменга убивать всех священных обезьян. Батты хотели убить англеза, но англез их больно и сильно бил, и они не посмели этого сделать. У англеза было много смертей на себе. На поясе и за спиной. А потом батты испугались ньявонгов, слуг англеза, – охотников за черепами.

Притихший ван ден Вайдено не удержимо и раскатисто расхохотался.

– Ну-ну, милый пастор, – весело воскликнул он, – как видите, вам вовсе не следовало обижаться на меня за мое недоверие к вам! На гостеприимство ваше мне наплевать,

конечно, но вы напрасно думаете, что я уберусь отсюда раньше той минуты, когда услышу от вас исчерпывающее объяснение по всем выставленным вам обвинениям, иначе... иначе... я не ручаюсь за себя.

Ван ден Вайден сжал кулаки и ринулся к совершенно обескураженному миссионеру.

Фон Альсинг поймал его за руки и, не стесняясь присутствием пастора Бермана, примирительно сказал:

– Оставьте, отец. Неужели вам охота руки марать?!

Краснея и задыхаясь от нахлынувших на него самых разнообразных чувств, пастор, готовый каждую минуту потерять сознание, заговорил, брызжа слюной и потрясая в воздухе руками:

– Ложь это все! Это ложь, или просто эти дураки не поняли меня. Да, это правда, у меня с ними был разговор об обезьянах, но я не упоминал имени мистера Уоллеса при этом. Они говорили о вас, Ян ван ден Вайден, и возмущались вашим последним трофеем – убитой гориллой. Ну, я им и сказал, не стану отрицать, что, хотя отнюдь не считаю обезьяну священным существом, все же противник убийства животных. О мистере Уоллесе не было сказано ни слова при этом. Да накажет вас Господь, если вы думаете, что я плету какие-то интриги вокруг поисков вашей погибшей дочери. Мне-то что за дело? Я уже ровно восемь лет после каждой воскресной мессы молю господа об упокое ее души. Вот и все. И вообще я считаю дальнейшую беседу на эту тему настолько для себя оскорбительной, что вынужден еще раз напомнить вам: либо вы прекращаете ее, либо я отказываюсь видеть в вас своих гостей. Вот и все. Я кончил.

– Вы это сделали своевременно, дорогой пастор, – совершенно серьезно сказал ван ден Вайден. – Мое терпение, как вам известно, не из объемистых. Но нет худа без добра. Все же из вашего ответа я сумел почерпнуть то важное и неоспоримое для меня доказательство, что имею дело не с пастором, а с...

Бог знает, чем окончилась бы вся эта сцена, если бы ван ден Вайден не был перебит задыхающимся от быст-

рого бега толстым голландским чиновником, как бомба влетевшим на веранду пастора Бермана.

Чиновник этот был секретарем управляющего Силлагским округом.

Придя в себя, он прохрипел:

– Ужасные вести из Европы! Ошеломляющие известия! Вы здесь, фон Альсинг? Это мне на руку. У меня и для вас есть пакет. Очень хорошо, что я вас встретил. Слушайте и постарайтесь поверить своим ушам: вся Европа в войне! Какое Европа! Азия, Америка! Непостижимая каша народов, месиво крови всех наций, возрастов и сословий!.. Россия объявила войну Австро-Венгрии, Австро-Венгрия – Сербии, Германия – России, Франция – Германии, Германия – Англии, Япония – Германии и Австро-Венгрии, Бельгия – Германии, Турция – Англии, Франции и России... о, боже мой, я, кажется, с ума сойду, если это не они там все рехнулись. Этот пакет на ваше имя, фон Альсинг. Америка... – тут чиновник захлебнулся собственными словами и, вытаращив как баран глаза, бессмысленным взглядом уставился на окружающих.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы и у остальных выражения лиц были более осмысленны и сознательны. Все были поражены до глубины души.

Фон Альсинг молча принял пакет из рук чиновника и машинально вскрыл его.

Наконец, после продолжительного молчания, первым заговорил ван ден Вайден:

– Но газет вы еще не имеете?

– Нет. Только телеграммы и экстренная почта. Газеты, я думаю, придут со следующей почтой.

Фон Альсинг успел тем временем познакомиться с содержанием пакета. Это было телеграфное предписание бельгийского военного министерства, лично ему адресованное, немедленно вернуться в свой гвардейский полк имени короля Альберта, старшим лейтенантом которого фон Альсинг числился.

Фон Альсинг быстро подошел к ван ден Вайдену и почти радостно сказал:

— Его величество король Альберт требует моего немедленного возвращения в полк. Сегодня же вечером я принужден буду покинуть вас, мой дорогой друг и отец. Но, уезжая, я возьму с вас слово, что вы не прекратите поисков моей невесты до тех пор, пока не получите известий о моей гибели или пока я сам снова не вернусь сюда, чтобы возобновить их с новой силой!

— Ну, что же делать, — воскликнул ван ден Вайден, кладя свою руку ему на плечо. — С Богом, мой сын, и да поможет вам Всевышний на поле ратном! О поисках вам беспокоиться нечего. Ваша невеста — моя дочь!

Старик быстро проговорил эти слова, но в них слышалась глухая боль расставания и предстоящего тяжелого и безрадостного одиночества.

Голландский чиновник вдруг снова вскочил с кресла и, ни с кем не прощаясь, с тою же быстротой, с которой сюда влетел, бросился вниз по ступенькам веранды.

Вслед за ним двинулись ван ден Вайден с фон Альсингом, которые, казалось, совершенно позабыли не только о цели своего приезда сюда и только что произошедшем между ними и пастором Берманом разговоре, но даже и о самом пасторе Бермане, хозяине покидаемой ими веранды, который в настоящую минуту молитвенно сложил на животе свои белые ручки и что-то бормотал себе под нос.

Пит и Меланкубу подали лошадей, и вскоре фигуры скачущих всадников исчезли в громадных тучах желто-бурой пыли.

Пастор Берман отвел глаза в сторону, тяжело вздохнул и, успокаивая себя, подумал:

«Эта милая война пришла как раз вовремя! Нет сомнений, что она отвлечет теперь всех любителей сильных приключений от этих идиотских поисков. Мне положительно везет!..»

В тот же день вечером фон Альсинг покинул старого ван ден Вайдена и направился в Паданг, откуда должен был переправиться прямо на театр военных действий.

Книга вторая

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ**

ПРИБЫТИЕ

В Батавии осенью 1923 года царило необычайное оживление.

Грандиозный дворец «Великого белого владыки» был богато декорирован растениями и убран гирляндами цветных фонариков и национальных флажков всех стран и народов мира.

«Великим белым владыкой» туземцы именовали голландского генерал-губернатора, являвшегося юридически лишь полномочным представителем Нидерландского королевства, а фактически игравшего роль почти неограниченного монарха всего малайского архипелага – Больших и Малых Зондских островов, огромнейшей территории, раскинувшейся в тихих водах Южного океана, в состав которой входит на севере группа Андомасских, Никобарских и Ментазийских островов с грандиозной Суматрой и островами Пуало-Ниасса, Банка и Биллингтоном, на юге – острова Ява, Мадуро, Бали и Флорос, не считая островов более мелких, на востоке – цветущие Филиппинские острова, а в самом центре желтый Целебес, усыпанный цветами, как подвенечное платье невесты.

Как ни грандиозна вся эта островная территория Южного океана – это лишь жалкие, разрозненные остатки когда-то единого, необъятного материка, соединявшего Азию с Австралией, являвшегося колыбелью человечества и тем таинственным местом, по которому шло неведомое переселение животных форм с одного на другой из современных нам материков.

О, прекрасная Атлантида, погружившаяся в зеленые волны жестокого забвения, самого глубокого океана из всех океанов земли, названная новыми людьми в различных, снова выступивших из-под воды точках разными именами – как холодно забвение бесстрастного времени, управляющего жизнью людей, океанов и материков, планет и солнечных систем!

Вся площадь перед дворцом была запружена тысячной толпой туземцев, пришедших поглазеть на праздник «Великого белого владыки».

По площади взад и вперед беспрерывно скакали курьеры, воины из личной свиты генерал-губернатора, окруженные блестящими оруженосцами, одни в сторону гавани, другие, прибывающие оттуда, галопом подлетали к стоявшим на ступеньках дворца гонцам и передавали им последние новости, которые, в свою очередь, гонцами передавались немедленно во внутренние покои дворца.

Прямая как стрела улица, шедшая от площади в глубь города, напоминавшая скорее роскошную аллею экзотического парка, чем главную улицу, — была очищена от прохожих и любопытных, густой массой стоявших шпалерами по ее краям и сдерживаемых частой цепью вооруженных и одетых по-парадному нарядных белых воинов.

Туземцы вели себя спокойно. Все же некоторые из них неосторожно высовывались вперед, нарушая правильность линии, но немедленно отскакивали назад, угощаемые бдительными полицейскими ударами бамбуковой палки по черепу.

С берега, скрытого густыми рощами лавров и гуттаперчевых деревьев, неслась беспрерывная пушечная пальба, от которой дрожали зеркальные окна губернаторского дворца и тяжело вздрагивали всем корпусом массивные лошади конных жандармов.

В редких промежутках между пушечной пальбой были слышны рвущие воздух всплески музыки, медные удары военного духового оркестра, где-то там, у самой гавани, исполняющего национальные гимны всех государств земного шара.

Веселые звуки марсельезы братски переплетались с медно-коваными аккордами «Die Wacht am Rhein». И совсем смешным (конечно, не для туземного уха) казалось смешение бурно-подъемной мелодии «Интернационала» с благочестивыми стонами «God save the King».

Батавия, по приказанию Европы, устраивала пышные празднества в честь прибывающей на Суматру междуна-

родной научной экспедиции ученых естествоиспытателей – ботаников, зоологов, геологов, палеонтологов, гистологов, эмбриологов, физиологов и анатомов, работы которых на острове должны были открыть человечеству тайну происхождения жизни и человека.

Все государства земного шара, большие и малые, командировали в эту экспедицию по одному представителю научной мысли; это было небывалое сборище лучших ученых всего мира, говорящих у себя дома на разных языках, но обладающих для переговоров друг с другом единым великим языком Науки.

Миллионы были ассигнованы на эту грандиозную экспедицию несколько успокоенными после мировой бойни государствами, желавшими этой экспедицией как бы загладить перед своими народами кровавый позор бессмысленной и мучительной войны.

И от результатов работ посланной экспедиции народы всего мира ожидали чуть ли не начала новой эры.

Ожидалось открытие истины. Но человечество всегда останется человечеством и даже в великих делах своих не может избежать мелких и грязных скандалов, скверных и закулисных сплетен, ханжества и всесильного мещанства...

Так случилось и в данном случае, а именно: одна грязная история, предшествовавшая отправлению этой экспедиции, вызвала чрезвычайный и скандальнейший шум по всей Европе.

Дело в том, что мысль об организации международной научной экспедиции принадлежала Лиге Наций.

Ни Германия, ни Россия не входили в Лигу Наций, а тут, как на грех, оказалось, что самые выдающиеся ученые в области естествознания, на трудах которых воспитывалось большинство ученых, оказались... один – немцем, а другой (и это было скандальнее всего) – русским!

Раньше, когда наука была попросту наукой, – на это никто не обращал никакого внимания; во время мировой бойни о науке вообще забыли, но теперь, вдруг, когда пришлось ассоциировать науку с национальностью, этот ранее никем не замечаемый факт сразу выплыл во всю свою величину

наружу и больно ослепил глаза некоторым вершителям народных судеб.

Оказалось, что каждому школьнику были хорошо известны имена величайших ученых мира, профессоров Мозеля и Мамонтова, и – что было хуже всего – все школьники эти, ранее и не задававшиеся вопросом, кем именно были эти профессора – китайцами, абиссинцами или полинезийцами, – вдруг узнали, что один из этих профессоров был немец, а другой – русский!

Ученые, на которых всегда просто смотрят как на ученых, вдруг превратились в нацию.

А всему виной паспорта. Не будь этих дурацких бумажек, «обязательных к предъявлению», может быть, никто бы ни о чем и не догадался.

Скверная вышла история с паспортами господ профессоров Мозеля и Мамонтова.

Однако, надо было «дипломатически» уладить нарастающий и уже начавший проникать в самые широкие слои общества скандал.

С Германией дело обошлось без особо бурных инцидентов и все было улажено довольно быстро и благополучно. Все удовлетворились положением, что хотя Германия и не входит в Лигу Наций, но все же она является республикой «признанной», так сказать, и следовательно, нет никаких оснований не видеть ее представителя в международной научной экспедиции, организуемой хотя бы даже этой самой Лигой.

Но... как надлежало поступить в данном случае с СССР?

Понятно, что никаких разговоров с этой ужасной, дикой страной нельзя было вести!

Ученым всего мира, за исключением бойкотируемой «Советии», были разосланы пригласительные билеты на предварительный съезд ученых в Женеве для выработки плана и маршрута предполагаемой экскурсии, и в числе получивших билет оказался также и профессор гейдельбергского университета по кафедре сравнительной анатомии, доктор медицины, действительный тайный советник Ганс-Эрнст Мозель.

Но... положительно весь мир перевернулся вверх дном! Не прошло и недели, как грянул неожиданный скандал.

И, что было хуже всего – даже народ, в толщу которого успели уже также проникнуть вести о предполагаемой экспедиции, явно давал знать о своем волнении и недовольстве через посредство своих, с каждым днем все увеличивающихся тиражи, бесцеремонных и нахальных газет.

И разразившийся скандал заключался в том, что все ученые, буквально со всех концов мира, будто сговорившись, прислали Лиге Наций свой отказ принять какое бы то ни было участие в работах организуемой экспедиции «до тех пор, пока не будет приглашен на съезд профессор московского университета по кафедре гистологии, эмбриологии и палеонтологии, Владимир Николаевич Мамонтов, гений научной мысли и гордость человечества».

Прямой и честный немец, знаменитый ученый Мозель отказ свой принять участие в работах съезда закончил следующими словами, перепечатанными всеми газетами мира: «Что же касается меня лично, то честь имею уведомить бюро Лиги Наций по организации международной биологической экспедиции, что одного только приглашения на съезд Мамонтова, моего учителя, считаю совершенно недостаточным для того, чтобы заставить меня изменить принятое мною решение. Я изменю таковое лишь в том случае и тогда, когда узнаю, что профессору Мамонтову, как единственно достойному для этой роли ученому, будет поручено президентство над всею предполагаемой экспедицией, со всеми отсюда вытекающими последствиями».

Это уже был прямой вызов не умеющего вести себя в обществе невоспитанного немца!

Но... вскоре господа из Лиги Наций сообразили, что затеяли несколько неосторожную игру, которую необходимо поскорее закончить.

И с акробатической ловкостью они, очень мило дав понять обществу, что господа ученые – это седовласые дети и ужасно смешные люди, когда выходят за пороги своих кабинетов, со странностями, с которыми необходимо считать-

ся, как с капризами невоспитанного ребенка, — закончили игру следующим образом:

Перед Мамонтовым извинились: не послали-де мол приглашения, ибо не знали, отпустит ли ученого правительство СССР... боялись отказа... очень-очень извиняемся и убедительно просим принять участие в работах съезда, верим в великодушные великого ученого, от ответа которого зависит весь успех экспедиции и т. д., и т. д.

А с «президентством» поступили так: назначили президентом экспедиции профессора Мозеля, с правом передачи этого президентства любому из участников экспедиции.

Мамонтов, совершенно далекий от каких бы то ни было интриг и политики в деле науки, просто и естественно ответил Лиге Наций полным согласием примкнуть к предполагавшимся работам и прибыл в Женеву.

Мозель немедленно передал ему свое президентство, от которого Мамонтов не мог отказаться ввиду единогласного утверждения этой передачи всеми съехавшимися учеными, и работы съезда начались.

Правда, после совершившихся фактов, американские миллиардеры, субсидировавшие экспедицию, долгое время тайно совещались, давать ли им или не давать денег этой «большевистской» организации, но под давлением прессы и общественного мнения, испугавшись нового скандала и своего провала на следующих выборах в Сенат, сдались и открыли свои необъятные кошельки.

Когда работы съезда закончились, экспедиция уже приобрела грандиозную популярность во всех слоях общества всех стран мира, которая, по мере того как организационные работы подвигались вперед и наступал назначенный день отъезда из Европы, росла все больше и больше.

Наконец, наступил долгожданный день отъезда.

Стотысячные толпы народа с песнями, знаменами и оркестрами музыки пришли на пристань Ливерпуля — откуда экспедиция отбывала — проводить ее великих участников, дипломатический корпус явился в полном составе и даже наследный принц Англии приехал передать пожелание успехов и благополучия от своего державного отца.

Речи и тосты сменялись гимнами и криками, и долго еще стоял на пристани восторженный рев беснующейся толпы после того, как специально зафрахтованное Лигой Наций судно, плавно и могуче рассекая волны, покинуло мрачные, осклизлые ливерпульские доки.

Лигой Наций было приказано Батавии – место высадки экспедиции, избравшей для своих работ Суматру, – встретить с той же пышностью прибывающих ученых.

И Батавия приготовилась к встрече.

В напряженной толпе туземцев, ожидавшей уже с утра на площади губернаторского дворца прибытия гостей, пробежал наконец легкий шепот.

Гости прибывали.

Вдали, за поворотом, показались два верховых гайдука, вооруженных длинными, ярко блестящими на солнце медными фанфарами, в которые они на всем скаку безостановочно трубили.

Звуки победно рвали воздух и казалось, будто упругие стружки красной меди звоню шлепают о плиты твердого как мрамор известняка, огромными кусками которого была вымощена улица.

Не успели взмыленные кони вынести фанфаристов из-за поворота на самую середину улицы, как тотчас же, упруго покачиваясь на мягких рессорах, бесшумно вынырнула из зелено-синей гущи лавров богатая коляска «Великого белого владыки», отливавшая на солнце, как воронье крыло, своей блестящей лакировкой.

Вокруг коляски гарцевали на чистокровных конях члены блестящей генерал-губернаторской свиты, гвардейские офицеры, пестрые доспехи которых блестили и переливались на солнечных лучах всеми цветами радуги.

За первой коляской последовала вторая, потом третья, четвертая, пятая, и вскоре считавшим этим коляски пришлось сбиться со счета.

Ближе и ближе подъезжала ослепительная вереница экипажей к площади, громче и громче раздавались трубные звуки фанфар.

Вскоре на площади стоял рев, в котором смешались крики, пальба, топот лошадиных ног, музыка, гимны и звонкие всплески упругих стружек красной меди.

На кожаных глубоких подушках первой коляски, мягко покачиваясь на неровностях дороги, справа сидел, весь залитый орденами и перевитый разноцветными лентами, барон Гуго ван дер Айсинг, голландский генерал-губернатор колоний, тонкий, высокий и сухой как жердь старик в парадном генеральском мундире, а слева от него – плотный человек лет сорока пяти, гигантского роста, с целой гривой уже чуть-чуть начинающих сесть черных волос.

Человек этот был профессор Мамонтов.

Одет он был в длинный черный сюртук и, видимо, невыносимо страдал от жары, что не мешало ему, однако, внимательно слушать, слегка наклонившись в сторону говорившего ему что-то ван дер Айсинга.

Мамонтов слушал серьезно и внимательно, хотя генерал говорил о сущих пустяках, изящно жестикулируя обтянутыми в белые лайковые перчатки руками и стараясь развлечь своего спутника.

И, если это плохо удавалось генералу, его нельзя было в этом серьезно обвинить.

Генерал чувствовал себя совсем не в своей тарелке и, конечно, если бы не приказание свыше, он предпочел бы совершенно по-иному обойтись со всеми этими господами учеными, совершенно никому, по глубокому убеждению генерала, не нужными, и уж конечно с этим русским, большевиком, которого, как президента экспедиции, он был вынужден терпеть рядом с собой, в своей элегантной коляске.

Но убеждения – убеждениями, а приказание свыше – это нечто такое, ради чего очень часто приходится прятать свои убеждения в карман.

И речь генерала, старавшегося развлечь своего задумчивого и серьезного собеседника, лилась плавно, предупредительно и даже заискивающе.

Во второй коляске разместились: справа настоятель протестантской церкви в Батавии и духовник генерал-губернатора, толстый, грузный и тучный пастор, а слева от него,

весь потонувший в мягких пружинах подушек, еле заметный рядом с пасторской тушей, маленький, щупленький и страшно беспокойный человечек, беспрестанно ерзающий на своем месте и нервно потирающий маленькие ручки, с совершенно голым черепом и круглыми, огромными стеклами очков, мировой ученый, знаменитый немец Мозель, профессор гейдельбергского университета.

Остальные ученые разместились в следующих за этими двумя экипажами колясках и каждый из них почетно сопровождался каким-нибудь должностным лицом из главного управления нидерландского генерал-губернаторства.

Не успел кучер барона ван дер Айсинга, с шиком хлестнув вожжами по осевшим крупам лошадей, на полном ходу остановить коляску перед самым крыльцом генерал-губернаторского дворца, как уже миллиарды электромагнитных волн понеслись из Батавии во все концы мира, оповещающая о благополучном прибытии на место великой научной экспедиции, начало работ которой ожидалось за океаном с таким нетерпением и непередаваемым напряжением.

И каждое слово этого сообщения ловилось всем человечеством, точно желавшим знать обо всех мельчайших подробностях, касающихся этой небывалой в истории культуры народов экспедиции, с жадностью и восторгом.

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ВО ДВОРЦЕ «ВЕЛИКОГО БЕЛОГО ВЛАДЫКИ»

После обильного обеда, не менее обильно политого вином и приправленного хотя и коротенькими, но зато в бесконечном количестве произнесенными спичами и тостами, приехавшие гости и их хозяева перешли в гостиную. Обед происходил в огромном мраморном зале дворца, убранном, как и стол, благоухающими розами всех сортов и цветов и маленькими разноцветными флажками всех народов и наций.

Но если ученые гости были изумлены роскошью обеденного зала, то изумлению их не было конца, когда они перешли в гостиную.

В противовес залитой ярким светом столовой, гостиная была художественно задрапирована сукном и коврами темных тонов, казавшихся еще темнее и мягче благодаря цветному освещению, лившему свои лучи из искусно скрытых в ветвях пальм и грандиозных азалий, густо усыпанных цветами электрических лампочек и фонариков.

То тут, то там были расставлены по всей гостиной изящные столики из инкрустированного слоновой костью черного дерева, на которых красовались приборы для курения, кофе и ликеры.

Гости разбились на маленькие группы и вполголоса вели между собой дружескую беседу.

Мамонтов стоял, заложив руки в карманы брюк, рядом с одним из лучших палеонтологов Европы, профессором кембриджского университета лордом Ибрахимом Валлесом и, добродушно щуря свои глубоко запавшие глаза, смотрел прямо в лицо своего коллеги, волей-неволей сверху вниз, так как, хотя профессор Валлес и был роста значительно выше среднего, Мамонтов был на целую голову выше англичанина.

Разговор велся по-английски: профессор Валлес плохо владел языками. Английский ученый, полупусть-полусерьезно, пытался доказать профессору Мамонтову, что наделавший в свое время так много шума отпечаток тазовой кости человекообразного существа, найденный Мамонтовым в мелу древнего силурия Богемского бассейна, принят ученым совершенно ошибочно за отпечаток кости и есть не что иное, как простая игра природы, часто встречаемая палеонтологами в древних напластованиях земли.

— Вспомните, дорогой коллега, — говорил Валлес, — неприятнейшую историю, приключившуюся не так давно с Дауссоном и Карпентером! Не они ли нашли на берегах реки св. Лаврентия, в архейских отложениях, на самых поверхностных слоях серпентизированного известняка, включенного в древние гнейсы, рельефно выступавшие узлова-

тости, в которых усмотрели характерную структуру фораминифер и нуммулитов, в результате чего решили, что имеют дело с самыми древними органическими остатками, которые только сохранились на земле, а решив это, уже не остановились перед тем, чтобы назвать свою находку пышным именем Eozoon, т. е. заря животной жизни.

– Нет, – сказал Мамонтов, – Eozoon 'ом будет названо другое.

– Ну, конечно, конечно, – закивал Валлес головой. – Однако об этом после. Я хочу вам в настоящую минуту напомнить о том, как мой соотечественник, мистер Джонстон Левис, открыл в лаве Везувия вулканические конкреции, имеющие совершенно сходное строение с этим пресловутым Eozoon'ом Дауссона и Карпентера, которые оказались обусловленными, увы! лишь тесным смешением известняка со змеевиком... Так бесславно окончилась находка зари жизни!

– Вы хотите сказать, – улыбнулся Мамонтов, – что результаты наших работ на Суматре развенчают славу моей теории о происхождении человека и сыграют со мною ту же шутку, которая была сыграна Везувием над Дауссоном и Карпентером?

– Упаси боже меня так думать, сэр! – воскликнул профессор Валлес. – Развенчать вашу славу, снять лавры с вашей головы – это так же невозможно сделать, как снять лавры с голов Ламарка, Кювье, Дарвина. Это положительно невозможно... Однако и с лаврами на голове можно ошибаться. Errare humanum est¹. Как известно, ошибались же те же Кювье и Ламарк, несколько не потерявшие от этого своего славного имени! Ошибаться необходимо тому, кто хочет достичь истины, и единственное, что я осмеливаюсь предпологать – это то, что наши работы смогут обнаружить некоторую ошибочность вашей знаменитой теории, горячим поклонником которой, как вам известно, я являюсь, горячим поклонником, но... не последователем! Я почти убежден в том, что вам не удастся найти здесь никаких следов

¹ Человеку свойственно ошибаться (лат.)

вашего, столь на шумевшего *Homo divinus*'а – божественного человека, как вы его сами называете в своей теории, отпечаток с тазовой кости которого, вы утверждаете, найден вами в Богемии. А если это будет так, то, согласитесь сами, – вы должны будете признать себя побежденным! Правда, еще останется надежда на отыскание следов существования этого проблематического нашего предка на совершенно неисследованных полюсах, но... не вы ли чуть ли не клялись, отправляясь сюда, что именно здесь вами будет найден ключ к великой тайне происхождения человека, именно здесь, в древнейших меловых отложениях тропиков?

Профессор Мамонтов снова улыбнулся.

– Вы не так поняли мою клятву, дорогой коллега. Я приехал сюда искать не исчезнувшего с лица земли *Homo divinus*'а или следов его существования, вряд ли сохранившихся еще где бы то ни было. Я приехал за поисками человекообразной обезьяны, еще неведомой науке, иначе говоря – за представителем второй филогенетической ветви *Homo divinus*'а. Как вам известно, я точно описал в своем последнем труде, как должен выглядеть этот представитель, а также все его анатомические и физиологические особенности. Следовательно, если я действительно найду подобный экземпляр животного, я уже тем самым, на основании строения его тела, докажу всю правильность своей теории, а вместе с этим и бесспорность существования когда-то на земной поверхности *Homo divinus*'а, являющегося по моей теории, как вам должно быть также хорошо известно, отнюдь не «первым» человеком, но, увы... человеком «последним», после которого человечество пошло уже не по пути прогресса, а по пути регресса и постепенного вырождения.

– Я это знаю, – сказал Валлес. – Ну, а если вам не удастся найти даже этой вашей человекообразной обезьяны?

– Тогда, сэр, – с легким поклоном ответил профессор Мамонтов, – я передам главенство над нашей экспедицией моему другу, профессору Мозелю, и буду иметь достаточно

гражданского мужества признать себя временно побежденным.

– Почему «временно», сэр?

– Вы сами же только что сказали, что за мной останутся полярные пространства, с которых еще не сдернута их белоснежная завеса холодных, застывших тайн. Впрочем, уверяю вас, дорогой коллега, что в тот час, когда весь мир узнает о великой победе мозелевской школы, я буду чувствовать себя не хуже, чем сейчас, ибо, хотя профессор Мозель мой противник, но его торжество – это торжество мысли, торжество науки, торжество человечества, и, конечно, оно не сможет не захватить и меня. Мы, ученые, ведь не боксеры, для которых победа противника является их поражением, – мы люди единой науки, и победа любого из нас есть наше общее торжество. Я всегда был того мнения, что уметь признать себя побежденным – такая же большая радость, как и праздновать победу самому!

Профессор Мамонтов вытащил руку из кармана и, достав из предложенного ему профессором Валлесом портсигара папиросу, спокойно закурил ее, крепко затянувшись ароматным дымом.

В это время, слегка покачиваясь на коротеньких ножках, красный как кумач, несколько чрезмерно возбужденный благодаря не совсем в меру выпитому вину, к беседовавшим ученым подошел настоятель протестантской колониальной церкви в Батавии, пастор, приехавший во дворец генерал-губернатора в одной коляске с профессором Мозелем.

– Ах, ах! – еще издали, подходя к разговаривавшим, восклицал пастор, как бы сокрушенно покачивая головой. – Вот он где, великая мировая знаменитость!

И, уже прямо обращаясь к профессору Мамонтову, спросил:

– Неужели, любезнейший профессор, ваша теория о происхождении человека высказана вами серьезно и с полным внутренним убеждением?!

– Милейший пастор, – улыбаясь, ответил Мамонтов, – разрешите мне вас заверить, что мы, люди науки, чрезвычай-

чайно скупой на шутки народ. Наш обычный жаргон – это серьезность. В этом отношении мы непримиримые враги. Мы – ученые, а вы – жрецы.

Пастор понял, что добродушие огромного медведя – вещь весьма относительная и, как бы добродушен он ни был, совать ему голову в пасть не приходится.

И потому, вместо дерзкого ответа, вихрем мелькнувшего в его несколько затуманенной вином голове, он спросил мягко и вкрадчиво, как бы позабыв уже о только что сказанном Мамонтовым:

– Дорогой профессор, мне хотелось бы добиться от вас лишь ответа на один маленький вопрос, который лучше всего я задам вам прямо, без всяких предисловий. В этом и заключалась цель моего желания побеседовать с вами. Скажите вы мне откровенно – вот вы, человек, прославившийся новой теорией происхождения человека, – в глубине души вашей, сохранили ли вы все же зерно веры в Бога, в Господа Бога нашего и в его святой промысел?

Ответ профессора Мамонтова был настолько неожидан, что пастор отшатнулся от ученого, как от бесовского наваждения.

Профессор Мамонтов сказал просто, но строго:

– Вы сами, пастор, в бога не веруете!

– Какой странный и... простите – дерзкий ответ! – воскликнул отступивший на шаг назад священник. – Впрочем... вы ведь большевик, если я не ошибаюсь?

Профессор Мамонтов добродушно спросил пастора в свою очередь:

– Слыхали ли вы когда-нибудь, милый пастор, о травоядном животном нижнего мела Британии – титанозаурусе?

– Нет.

– Я полагаю, – вздохнул Мамонтов, – о большевиках вы слыхали не больше. Я делаю это заключение на основании той связи, которую вы делаете между брошенным вами мне упреке в дерзости и вашим вопросом. Большевик я или нет – это так же важно для моей оценки, как и то, женат ли я или нет. Раз навсегда прошу вас запомнить, дорогой пастор, что мы приехали сюда не для того, чтобы пропаган-

дировать те или иные политические взгляды, а для того, чтобы заниматься наукой. Следовательно, здесь нет «большевиков», «либералов», «консерваторов». Здесь имеются одни только ученые.

— Ах, мой дорогой профессор, — с рыданием в голосе в ответ на слова Мамонтова воскликнул, всплескивая руками, казавшийся необычайно огорченным пастор. — Я ведь знал это, я предчувствовал, думая о предстоящей нашей встрече, что милосердный Господь не пошлет мира в ваше заблудшее сердце и вы будете искать ссоры со мной! А я шел к вам с распростертыми объятиями — уверяю в этом вас! Я уже старый человек, многое переживший и не менее выдавший на своем веку! Я больше двадцати лет был миссионером как раз в тех краях, куда вы теперь направляете шаги свои, и, право же, мог бы быть вам во многом полезен своими указаниями и советами. Но как же мне их преподавать вам, когда вы так относитесь ко всякому моему слову.

— Это ваша грустная ошибка, — сказал искренне профессор Мамонтов. — У меня нет никаких оснований относиться к вам, человеку мне совершенно незнакомому, с каким бы то ни было недоверием и, если вы только пожелаете помочь нам в наших работах, то, уверяю вас, ничего, кроме самой горячей благодарности, вы от нас не услышите.

— Ах, дорогой профессор! — воскликнул как бы повеселевший пастор, — В таком случае, вот вам мой первый и самый основной совет: ищите вы ваших животных, где вам только угодно, но ни под каким видом не углубляйтесь в Падангские леса.

— Почему? — спросил Мамонтов. — Леса северного Оффра — это как раз то, что меня больше всего привлекает. Там я рассчитываю найти своего *Homo divinus*'a.

Пастор горячо и страстно принялся уговаривать Мамонтова бросить свою затею.

— Вы погибнете в этих лесах, как многие уже гибли до вас, — убеждал он. — Это ведь не леса, а лабиринт сатаны. Туда еще никто не проникал и, конечно, нет никаких осно-

ваний предполагать, что вам удастся туда проникнуть. Это бессмысленная затея и бесславная гибель. К тому же никакой человекообразной обезьяны неведомой еще породы вы там никогда, конечно, не найдете, ибо ее там нет. И вообще, это греховное и ничем не доказанное заблуждение – видеть какое бы то ни было сходство между человеком, происхождение которого божественно, с простым животным, ничего общего с человеком не имеющим. Скверное заблуждение, смею вас заверить, начало которому положено несчастным Дарвином, а вами доведено до совершенно непозволительных пределов!

Тут даже профессор Валлес не выдержал и фыркнул, и это вышло очень забавно.

Но это заставило пастора только с новой силой красноречия наброситься на невозмутимо-спокойного профессора Мамонтова:

– Это заблуждение, заблуждение, заблуждение! О, да вразумит вас господь в этом! Как вы не можете понять, т. е., вернее, согласиться с такой простой истиной, что наша сознательная деятельность дарована нам высшим существом и свойственна одному только человеку. Ничего нового со времен первых естествоиспытателей вы все, сколько вас ни было, в сущности говоря, не дали. Вы только продолжали, развивали, опровергали друг друга, а до дела никто из вас все равно не договорился. А до дела договориться необычайно просто, стоит лишь вооружиться достаточным гражданским мужеством и изменить некоторой своей непримиримости в одном принципиальном разногласии, которое существует между наукой и религией, т. е. стоит лишь признать, что одно только Божество может являться внутренней причиной бытия, и все ваши гипотезы, предположения и умозаключения сами собой улягутся в стройную систему и гармоническое целое. Ваше упрямство до сих пор не способствовало движению науки вперед, оно явилось лишь тормозом к познанию истинного Бога, к которому человек инстинктивно стремится от колыбели до могилы.

– За исключением вашего последнего заявления, – серьезно сказал профессор Мамонтов, – я, конечно, не могу

согласиться ни с одним из ваших парадоксов. Мое желание видеть между обезьяной и человеком различие лишь количественное, а не качественное — отнюдь не результат моего упрямства, а результат моей сознательной деятельности, которой вы приписываете божественное происхождение. Подумайте, что получается: сам Бог учит меня дарвинизму. Что же касается вашего последнего заявления, что человек от колыбели до могилы инстинктивно ищет Бога, то с этим я вполне и серьезно согласен. Вы глубоко правы, говоря об «инстинктивности» этих поисков. Но знаете ли вы, что такое инстинкт? Это веками накопленный опыт животного. Теперь подмените в вашей фразе слово «Бог» словом «истина», и вы получите вполне определенное значение и смысл человеческой деятельности. На основании опыта животное знает о существовании истины, т. е. той причины, благодаря которой оно само существует, которую оно, за недостаточностью своих сведений о свойствах окружающего его мира, не знает, но найти которую можно. Раз что-нибудь реально существует, то естественно — это «что-нибудь» можно познать, увидеть, вульгарно выражаясь — пощупать и понюхать. И — животное ищет. Ищем и мы нашего «Бога». Но мы твердо знаем, что этот Бог не что иное, как материя или энергия, что одно и то же в конечном счете, ибо материя есть не что иное, как заряд энергии определенной силы и качества, и нам незачем окружать эти поиски реального фантастикой мистицизма. Вы же избрали себе другую и, надо вам отдать справедливость, удивительно нелогичную дорогу! Утверждая, как и мы, что существует истина, т. е. первопричина (вы называете ее словом «Бог»), вы отказываетесь в ней видеть нечто вполне материально-реальное и приписываете ей свойства ирреальности, т. е. свойства духа. Странное положение: вы начинаете верить в существование... несуществующего!

Вы приходите к абсурду и, чтобы как-нибудь выйти из положения, приукрашиваете этот абсурд пестрыми лоскутками фантазии (заметьте, между прочим, что эта фантазия тоже дальше ваших реальных познаний о свойствах внешнего мира не идет, ибо у ваших душ имеются руки,

ноги, носы, крылья – одним словом, все бутафорские аксессуары, известные в постановке любого фантастического спектакля на сцене современного нам театра) и сумбурной путаницы, которая называется мистикой. И неужели, задам теперь я вам вопрос, вы думаете таким путем прийти скорее к нашей общей цели?

– Но почему вы так уверены, что первопричина – материального, а не духовного характера? – спросил пастор.

– Я привык так уже думать, – ответил Мамонтов, – что свинья родит свинью, из желудя вырастет дуб, из куриного яйца высиживается не крокодил, а курица. Материя могла произойти только от материи.

– Следовательно, человеческая душа произошла вот именно от мировой души.

– А разве «душа» это не та же материя? – улыбнулся Мамонтов. – Между душой и телом такая же разница, как между энергией и материей – только и всего.

– Я боюсь, что остался столь же мало убежденным в правоте ваших слов, сколь был и до моего разговора с вами, – покачивая головой, сказал пастор. – Оставим вопрос о происхождении человека в стороне, ответьте мне на такой простой вопрос: почему человек, который физически значительно слабее остальных животных, так сильно размножился, а сильные животные – наоборот, уступая дорогу человеку, вымерли? Разве в этом вы не видите промысла Божия?

– Я в этом вижу лишь подтверждение своей теории, – ответил Мамонтов. – Человечеству не шесть тысяч лет, как полагаете вы, и не двадцать тысяч лет, как полагают ученые. Человечеству – миллиарды лет! И настоящее человечество давно уже вымерло вместе с крупными формами животных. То, что вы видите сейчас перед собой, это уже не человечество, это его жалкие дегенерирующие остатки. А почему крупные формы были обречены на вымирание – это уже вопрос, осветить который в получасовой беседе невозможно. Что же касается тех остатков человечества, которых вы человечеством именуете, то я вовсе не вижу, чтобы они так уже сильно размножились. В нескольких

каплях загнившей воды — более живых существ, нежели людей на всем земном шаре. Чем примитивнее живое существо, тем легче ему сохранить свой вид от вымирания. Впрочем, я боюсь, что мы с вами слишком углубились в дебри науки.

— Увы! Это все равно не поможет господину пастору уразуметь суть дела, — сказал с высокомерной усмешкой на тонких губах подошедший в эту минуту к разговаривавшим высокий, худой старик, одетый в изящный охотничий костюм.

Увидав приблизившегося старика, пастор неприятно поморщился, а профессор Мамонтов повернул удивленно голову в сторону подошедшего.

— Я — ван ден Вайден, сэр. — отрекомендовался старик и прибавил: — Я только что прибыл с места моего постоянного жительства на озере Тоб в Батавию, экстренно вызванный сюда бароном ван дер Айсингом. Я назначен генерал-губернатором сопровождать вашу экспедицию, быть ее чичероне, так сказать, как местный старожил и охотник. Мне крайне прискорбно, что я опоздал к назначенному его превосходительством сроку — тому виной неисправность наших дорог — и не присутствовал при торжественном прибытии возглавляемой вами экспедиции в наши края. Однако, вы видите, что первый, кому я докладываю о своем прибытии, — это вы, в лице которого я уже вижу своего будущего начальника.

— Я искренне рад позжать вашу руку, — выпуская из своей лапищи сухую, изящную и тонкую руку ван ден Вайдена, сказал Мамонтов. — Господин барон изволил меня уже предупредить о том, что, по его любезной просьбе, вы дали ваше великодушное согласие помочь нам в нашем деле. Ни о каких начальниках, понятно, не может быть речи. С этой минуты вы равноправный член нашей экспедиции, следопытству которого мы все доверяемся и заранее благодарим.

— Я приложу все усилия, чтобы заслужить эту благодарность, господин профессор, — поклонился ван ден Вайден. — Я смею думать, что мое присутствие действительно

во многих отношениях будет полезным вам.

Волей жестокой судьбы я изучил, как свои пять пальцев, все углы и закоулки этого проклятого острова и обшарил его всего, как хороший карманный вор обшаривает карманы своей жертвы. Даже северная часть лесных склонов Офира не осталась совсем без моего внимания, хотя эту часть острова, ввиду почти полной невозможности проникнуть в нее, я знаю, надлежит сознаться, плоховато.

— Это, я надеюсь, совместными усилиями нам удастся одолеть, — сказал Мамонтов. — Леса Офира — как раз то, что меня интересует больше всего, так как именно там, на основании целого ряда научных заключений, я рассчитываю найти то, зачем приехал.

Я постараюсь проникнуть в их лабиринты во что бы то ни стало. Наша экспедиция разделится на две части: одна ее часть займется исследованиями мела третичных отложений на берегах рек Кампара и Сиак, вторая — в работах которой буду участвовать я и Мозель — займется северной частью отрогов Офира, причем центр работ будет сосредоточен по преимуществу в лесах горной цепи Малинтанга. Я надеюсь, вы не откажете сопровождать именно эту часть экспедиции. Не правда ли?

— Конечно, — последовал быстрый ответ старого охотника.

— Ну вот и прекрасно. Теперь скажите мне, дорогой сэр, что заставило вас переселиться сюда из Европы?

— Двадцать лет, — ответил Ван-ден-Вайден, — я скитаюсь с одного берега этого острова на другой. Двадцать долгих лет я ищу сокровище, которое отняло у меня провидение.

— Да, да! — вмешался снова в разговор пастор. — Это верно: двадцать лет вы не знаете покоя. Слишком много вы полагались на ваши слабые силы, господин ван ден Вайден, и слишком мало обращали свои взоры на милосердного Господа. Он отнял у вас вашу дочь и только он один и может вернуть ее вам!

— Пастор Берман, — сказал резко ван ден Вайден, — вы сами вынуждаете меня сказать вам в присутствии посторонних дерзость, которую и извольте проглотить: я, су-

дарь, кажется, достаточно ясно запретил вам упоминать вашими лживыми устами имя моей дочери. Или вы думаете, что присутствие кого бы то ни было может удержать меня от того, чтобы заставить вас замолчать? Не вынуждайте меня к крайностям, сэр!

Пастор довольно растерянно забормотал что-то, с очевидным намерением обратить все в безобидную шутку.

— Ах, извините! — воскликнул он. — Я ведь и забыл совсем, что имею дело с давно озверевшим человеком!

И, потирая свои пухлые ручки и слегка хихикая, он пожал плечами и отошел на несколько шагов в сторону, к группе ученых, стоявших рядом, среди которых находились профессор Мозель и знаменитый итальянский анатом профессор Марти.

— Что это за антипатичнейшая личность? — шепотом спросил профессор Мамонтов, наклоняясь к Яну ван ден Вайдену.

— О! — ответил Ван-ден-Вайден, — это худшая малярия из всех здешних малярий! Это некий пастор Берман. В начале своей карьеры он был простым миссионером на плоскогорье Силлалаги, в районе озера Тоб. Не знаю, какой леший заставлял его в первое время организованных мной поисков моей дочери, таинственно исчезнувшей в лесах Офира ровно двадцать лет тому назад, всячески препятствовать мне в успешном их ведении. Путем всевозможных интриг и домогательств он перебрался сюда, в Батавию, добившись назначения на пост настоятеля здешней церкви.

— Я не предполагал, — беря ван ден Вайдена под руку, мягко сказал Мамонтов, — что вы тот самый ван ден Вайден, дочь которого некогда исчезла в лесах Офира, хотя ваша фамилия мне сразу показалась знакомой. Теперь-то я хорошо вспомнил, в чем было дело. Хотя это и было очень давно, но европейские газеты достаточно протрубили об этой истории. Я искренно буду счастлив, если мои поиски человекообразной обезьяны в неисследованных еще областях чем-нибудь, в свою очередь, будут полезны вам.

— Приезд вашей экспедиции, — горячо отвечал несчастный отец, — снова оживил и воскресил мои совсем было

уже угасшие надежды. Я несказанно счастлив, что на мою долю выпала честь быть вашим следопытом, но — сознаюсь откровенно, — я еще более счастлив тем обстоятельством, что, благодаря работам вашей экспедиции, поиски моей дочери невольно начнутся снова. Разумом я перестал верить в удачу своих поисков уже давно... но... десять лет тому назад, как гром с неба, является сюда сыщик из Скотланд-Ярда, который дал мне письменную клятву в том, что у него есть все основания предполагать, что гибель моей дочери факт далеко не очевидный. С той поры я не нахожу себе места больше на этой проклятой почве, ибо я твердо знаю, что скотланд-ярдовский агент не бросается зря клятвами и предположениями. Как видите, дорогой профессор, упорство, которое я проявляю в надежде отыскать свою дочь, имеет под собой кой-какие вполне реальные и конкретные основания.

— Но какова же была судьба поисков этого сыщика и участь его самого? — спросил Мамонтов.

— Вот в этом-то и вся суть, — ликуяще ответил за ван ден Вайдена подошедший пастор Берман. — Его постигла та же судьба, что постигнет всякого, а в том числе и вас, кто дерзнет сунуть свой нос в дебри лесов. Он бесследно исчез и бесславно погиб. Вот какова была его судьба, сэр!

— Однако, гибель мистера Уоллеса также не больше чем предположение! — заметил профессор Валлес.

— Откуда вы знаете, что англичанина звали Уоллесом? — спросил изумленный пастор.

— Мистер Стефен Уоллес, — как бы поправляя пастора, сказал Валлес. — На то я англичанин, чтобы знать это. В прошлом году в английском парламенте, членом которого я имею честь состоять, господину министру колоний был задан вопрос: что предпринято английским королевским правительством для отмщения за убийство туземцами острова Суматры английского подданного — мистера Стефена Уоллеса.

— И каков же был ответ господина министра? — подобострастно и лукаво спросил пастор.

— Господин министр ответил в том духе, что гибель мистера Уоллеса еще как будто не доказана, но что это не должно никого смущать. Коль скоро она станет очевидной, Англия сумеет реагировать на нее должным образом. «Англия вечна», — сказал господин министр и добавил, что Англии торопиться некуда. В свое время Англия всегда скажет свое последнее слово.

— Ищи ветра в поле, — протянул пастор Берман. — Господин министр колоний никогда, верно, в колониях не бывал.

Профессор Валлес, который обладал удивительной способностью мгновенно перевоплощаться, ничего не ответил на эти слова краснощекого человечка.

До он и не мог ничего на них ответить, ибо в эту минуту он был уже не профессором кембриджского университета, а лордом, сэром Ибрахимом Валлесом — членом верхней палаты и подданным его величества короля Великобритании.

ЗНАМЕНИТАЯ ТЕОРИЯ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА МАМОНТОВА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Уже через день экспедиция тронулась в путь.

Как и было заранее намечено, ученые разбились на две группы: одна — под предводительством профессора Марти — направилась к истокам Кампара, другая, которой руководил сам профессор Мамонтов, — к лесам Малинтанга.

Путь, как участникам первой, так и второй группы, предстоял долгий и трудный, а потому перед расставанием ученые сердечно простились друг с другом, назначив место встречи в гавани Малабоэж ровно через полгода.

К этому времени в гавань должен был прибыть и корабль Лиги Наций, чтобы доставить участников экспеди-

ций обратно по домам, о чем был дан профессором Мамонтовым соответствующий наказ капитану судна.

Барон Гуго ван дер Айсинг, генерал-губернатор Суматры, также обещан прибыть в Малабозх через полгода, чтобы лично принять участие в торжественных проводах экспедиции.

– Я буду счастлив, – сказал он Мамонтову на прощанье, – от лица всего мира первым приветствовать победу вашей или мозелевской школы. Искренне желаю, чтобы вы поровну разделили между собою заслуженные вами обоими в одинаковой мере лавры!

– Наша прогулка должна будет, – ответил Мамонтов, – раз навсегда разрешить мой спор с уважаемым профессором Мозелем, самым достойным противником, которого себе только можно представить и желать.

Здесь необходимо познакомить читателя несколько ближе с профессором Мозелем и профессором Мамонтовым.

Профессор Мозель отличался от других ученых поражающей логикой своих умозаключений и обоснованностью научных гипотез. Даже профессор Мамонтов пасовал тут перед ним.

Научная аргументировка и потрясающее знание предмета делали из этого маленького, беспокойного и нервного человечка такого небывалого в истории биологии гиганта, что дали повод Мамонтову к дружеской остроте над своим соперником:

– Если человечество вздумает, – говорил он, – после смерти Мозеля поставить его фигуру наверху написанных ученым трудов, сложенных одно над другим – оно сыграет скверную шутку с беднягой: фигуры его никто не увидит.

По своим убеждениям он был ярким дарвинистом.

Вот, в сущности говоря, на чем основывалась слава этого профессора. Не на том, что он создал новую школу, а на том, что он сделал старую и довольно уязвимую школу неприступной цитаделью биологической мысли.

Иным был профессор Мамонтов.

Этот ученый зачастую страдал отсутствием неуязвимых логических положений. Это был ученый-творец, ученый-поэт, ученый-художник.

И он создал школу.

Но в этом-то и заключалась вся трагедия этого большого человека.

Он остался одинок.

Его ошеломившая все человечество и нашумевшая на весь мир теория была еще не только не проверена, но и не имела серьезных последователей.

В Мамонтове боролись как бы два начала: одно влекло его в сторону сильных, здоровых мыслей настоящего революционного творчества, где конечной целью могли быть только прогресс и достижение; второе тащило его назад к тем мыслям и течениям, порождение которых могло быть только благодаря общему упадничеству послевоенной Европы, которое неминуемо должно было привести даже таких сильных людей, как Мамонтов, к моральным катастрофам и тупикам. Эта борьба двух начал особенно сильно сказывалась в последней теории Мамонтова. В ней, с одной стороны, Мамонтов хотел видеть человечество освобожденным от своих пут и цепей, — гордых, сильных и равных друг другу, но, с другой стороны, мысль его не могла подойти к этому человечеству, уже сейчас начинающему на 1/5 части земного шара строить новую жизнь, — просто и материалистично; он начинал колебаться в своих психологических оценках и бросался искать подтверждения своим идеалистическим взглядам в палеонтологии, — науке настолько еще не разработанной и темной, что именно в ней можно было найти подтверждения своим, иногда ложным, взглядам, на первый взгляд кажущимся неоспоримо-вескими доказательствами. Последняя теория Мамонтова о происхождении человека, наделав много шума, принесла ему больше врагов, чем друзей: с одной стороны, своей неумеренной левизной, с другой же — своей, ни на чем реальном не основанной, пессимистичностью и, как сам Мамонтов в глубине души признавал, упадочничеством.

Суматровская экспедиция должна была выяснить дело.

– Это мое бессмертие или смерть, – сказал сам профессор Мамонтов про экспедицию облепившим его репортерам на палубе готового к отплытию из Ливерпуля на Суматру корабля.

Врагов было много, но только в одном Гансе Эрнсте Мозеле Мамонтов видел единственного достойного себе соперника, – ученого еще небывалой глубины и мощи.

Только он один был страшен Мамонтову своей, еще никем не побежденной логикой, стискивающей соперников, как железными клещами.

И с Мамонтовым было уже так не раз, когда Мозель «брал его в оборот». Ему очень часто приходилось отказываться от той или иной своей гипотезы на основании лишь нескольких слов мозелевской критики!

Но это нисколько не смущало Мамонтова – ему порой доставляло даже какое-то рыцарское удовольствие признавать себя побежденным и с восторженностью настоящего ученого отдавать в этих случаях пальму первенства своему великому сопернику, тем более что большинство прежних теорий Мамонтова были все же всецело приняты самим Мозелем.

Только относительно последней и самой главной теории Мамонтова, – основы всей научной деятельности его – теории о происхождении человека, еще ни единым словом не обмолвился Ганс Эрнст Мозель.

Он молчал. Он выжидал чего-то. Он как будто не решался говорить еще. Он, казалось, проверял свои силы.

И это молчание было страшно.

Было ли оно согласием или осуждением?

Подтверждение этой теории было для Мамонтова вопросом жизни.

И это отлично понимали все – вот почему решительно все следили с таким напряженным вниманием за работами экспедиции.

Каждый хорошо знал из газет, что первый вопрос, который задал Мамонтов Мозелю, увидав его на съезде в Женеве, был:

– Какого вы мнения о моей теории?

И каждый так же хорошо запомнил загадочный ответ непобедимого немца, сказанный просто и серьезно:

– Я вам отвечу на этот вопрос тогда, когда мы вернемся с Суматры, дорогой коллега.

А теория профессора Мамонтова, так сильно взволновавшая не только ученых, но и все мыслящее человечество, была действительно достойна изумления.

Профессор Мамонтов пришел к тому заключению, что тот вид животного царства, который принято обозначать как «*Homo Sapiens*», т. е. человек, отнюдь не является промежуточным звеном в процессе положительной эволюции животного мира, т. е., иными словами – не заслуживает названия «венца творения», являясь в настоящую минуту максимальным достижением того совершенства, к которому стремится природа, а является представителем дегенерирующей и вымирающей филогенетической ветви, когда-то, миллиарды, может быть, лет тому назад, существовавшего, действительно идеального и совершенного во всех отношениях вида.

По отношению ко многим видам животного царства Мамонтову удалось доказать правильность своей теории, правда, данными загадочной палеонтологии, но Мамонтов, ослепленный своей теорией, не сомневался в том, что очень скоро сумеет доказать применимость своих выводов и по отношению к человеку.

И, казалось, действительно: раз его теория оказалась справедливой по отношению к вымершим совершенно уже в настоящее время гигантским раковинам аммоней триасового периода мезозойской эры или, например, к гигантам третичного периода, также вымершим на основании тех же законов, то нет сомнения в том, что теория его применима и к остальным группам животного мира, а в том числе и к человекообразным.

Но если бы теория профессора Мамонтова оказалась применимой и к человеку, то отсюда неизбежно следовало, что и человек давным-давно уже достиг максимума своего развития, после которого произошла, на основании открытых Мамонтовым законов, остановка в его эволюции, с по-

следовавшим затем неизбежным процессом дегенерации. Вот тут-то Мамонтов и начинал как будто противоречить сам себе. Приняв Октябрьскую революцию полностью, он всегда с гордостью наблюдал за непрекращаемой эволюцией новых людей, строивших действительно новую жизнь, а с другой стороны, как наркоман, влекомый к своему наркотику, возвращался к пораженческим выводам своей теории. А выводы мамонтовской теории были действительно несколько неожиданны.

Современный человек, «*Homo Sapiens*», рисовался Мамонтову как представитель дегенерирующей ветви когда-то существовавшего, действительно «идеального» человека, т. е. наисовершеннейшего существа, ныне уже вымершего, которому Мамонтов дал определение «божественного» и назвал его *Homo divinus*.

До мамонтовских открытий было принято думать, что человек не существовал еще во времена третичного периода, и все ученые единогласно отодвигали появление человека в более молодые периоды геологической жизни земли. Мамонтов же утверждал, что человек появился уже в эту отдаленнейшую эру, сотню тысяч лет тому назад существовавшую, и даже внешний облик этого человека был самым подробным образом описан ученым.

Правда, Мамонтов сделал это лишь на основании какого-то таинственного отпечатка, найденного им в мелу силурийского бассейна Богемии и принятого им за отпечаток безымянной кости *Homo divinus*'а, но этого было достаточно Мамонтову для того, чтобы ясно и отчетливо восстановить весь костяк давно исчезнувшего, как он полагал, с лица земли человека и даже описать самым подробным образом внутреннее строение этого необычайного существа.

По Мамонтову, *Homo divinus* своею внешностью ничем особенным не отличался от внешнего вида современного нам человека, за некоторыми исключениями.

Рост современного нам человека не превосходит длины одной только голени этого доисторического исполина.

Отношение окружности черепа к окружности груди у *Homo divinus*'а было значительно меньше, чем у современ-

ного человека, что объясняется необычайно мощно развитым черепом нашего предка.

Емкость черепной коробки *Homo divinus*'а равнялась емкости грудной клетки современного нам человека, увеличенной в два с половиной раза, и почти равнялась емкости своей собственной грудной полости.

Вторая особенность, отличавшая этого гиганта от *Homo sapiens*'а, была еще более удивительной и заключалась в том, что, по утверждению профессора Мамонтова, пришедшего к своему заключению на основании детального изучения лобкового сращения нашего предка, он был существом двуполым.

В чем же, в сущности говоря, заключалась эта нашумевшая теория?

Дело представлялось профессору Мамонтову в следующем виде:

Закон эволюции живых форм материи, знаменующий собой их прогресс – конечен. Эта конечность является результатом того обстоятельства, что эволюционное развитие, как земли, так и всего космоса – циклично, т. е. находится в плоскости круга.

Геологические катастрофы и катаклизмы ошибочно названы учеными «эрами». Это не эры – это только этапы эр.

Эрой может быть назван лишь полный круг развития, т. е. момент рождения, само развитие, достижение максимума этого развития, что соответствует 180 градусам круга, переход за максимум развития, т. е. начало регресса, дальнейший регресс, стадия старости, предшествующая концу цикла, и, наконец, достижение 360-го градуса по кругу, т. е. смерть.

Итак, жизнь развивается по кругу от 0° до 180° и дальше от 180° (уже по другую сторону круга) до 360-го градуса.

Круг, как измеримая градусами величина, конечен, а потому и развитие материи конечно.

Полный обход круга жизнью и есть эра.

Но так как круг, как линия, бесконечен, то бесконечна и сама жизнь, т. е. числа следующих одна за другой эр, являющихся каждый раз повторением одного и того же явления, неограничены во времени и пространстве.

Естественно, что стадии рождения (от 0° по кругу) отвечают признаки несовершенства форм всякой и, в частности, живой материи, одноклеточные организмы, отсутствие специализации в их строении, простота и примитивность этого строения и, наконец, микроскопические размеры самих организмов.

Однако именно в этой стадии можно проследить зарождение естественного фундамента, долженствующего наступить в силу движения по кругу прогресса – изживание которого уже будет знаменовать собой дегенерацию, т. е. заход по другую сторону круга.

Именно в «примитиве» первобытных форм и заключен этот естественный фундамент.

В этой стадии – филогенетические ветви развиваются чрезвычайно быстро, удивляя наблюдателя своим разнообразием и пестротой.

Дальнейшей стадии развития отвечает уже соответствующее развитие морфологических свойств образовавшихся ветвей, появление новых классов, родов и видов, причем все время идет неминуемое увеличение специализации отдельных организмов и в них заключенных органов, а также и постепенное увеличение объемов тел.

Стадии достижения максимума соответствуют и отвечают признаки наивысшей специализации отдельных органов, гигантский рост представителей всех видов и, что составляет наисущественное отличие этой стадии, – апогей развития физического и психологического.

Человек, достигший этой стадии, является представителем самой фантастической культуры и техники, но он еще не перешел дозволенных границ роковой для него, как и для всякого живого существа, специализации.

Это в особенности относится к его половой сфере. Он еще двупол.

В это время уже рост эволюции морфологических свойств закончен, и образование новых филогенетических ветвей быстро падает. Жизнь достигает своего апогея. Ставовсьми-десятого градуса круга.

Далее... неумолимая сила вещей,двигающая бытие безостановочно вперед,заставляет жизнь достигнуть первых сотых частей 181-го градуса, ибо рельсы жизни не по прямой, а по кругу, вследствие чего движение вперед – обращается в движение назад, и уже эти самые первые сотые части 181-го градуса, куда заглянула жизнь, неизбежно несут всему живому вырождение и смерть.

Это вырождение обуславливается прежде всего все глубже и глубже охватывающей живую материю специализацией.

Появление новых филогенетических ветвей вследствие этого прекращается.

Именно с этого момента в циклической жизни живых существ начинает проявляться явная дегенерация, т. е. все то, что не только физически, но и нравственно ведет живое существо к его физиологической старости и смерти.

Каждый новый индивидуум не сохраняет уже полностью всех своих морфологических свойств, а наследует по боковым линиям такую массу добавочных признаков и свойств, что они неминуемо, удаляя его от первообраза, приводят к вырождению, что применимо также и к человеку.

Если принять во внимание, что к этому времени развитие филогенетических ветвей прекратилось, рост особей упал, то вполне понятным будет заключение Мамонтова о наступлении в циклическом развитии человека стадии старости, предшествующей смерти.

Смерть не заставляет себя долго ждать.

Глазные орбиты замкнуты, носовые кости укорачиваются, движения нижней челюсти ограничиваются и, вслед за наступлением старческого маразма и короткой агонии, – круг замыкается и жизнь достигает смерти. Трехсот шестидесяти градусов круга.

Эра окончена. Геологический переворот и катаклизм. Тьма над бездной, и снова новый луч солнца – новый ноль

градусов новой эры, которая неминуемо повторяет все этапы бесконечное число раз предшествовавших ей эр для того, чтобы дать себя повторить бесконечным числом еще последующих за нею эр.

Здесь будет уместно привести выдержку из последнего труда профессора Мамонтова, которой мы и закончим настоящую главу.

«Современное нам человечество находится в своем циклическом развитии, увы, не по эту, а давно уже по ту сторону круга.

Расстояние от первого градуса регресса, т. е. от 180 градуса круга, до того градуса, на котором человечество сейчас находится – довольно значительно. Я определяю на основании некоторых своих соображений это расстояние равным 45-ти градусам, т. е., иными словами, считаю, что человечеством уже достигнут 225-й градус его циклического пути.

До окончания переживаемой нами эры остается, таким образом, всего лишь 135 градусов движения по кругу.

Ничего нет кошунственного и неприемлемого в том, что в один прекрасный день все мы должны будем прийти к тому выводу и заключению, к которым пришел в настоящее время я.

В настоящее время мы, если и соглашаемся с фактическим существованием в природе естественного отбора, то уже никак не можем видеть в нем двигателя жизни и творца гармонии во вселенной; наоборот, нам совершенно ясно, что именно он-то и является одним из факторов нашей естественной старости и физиологической смерти.

Борьба за существование! Конечно, нужно было быть гением, чтобы “открыть” ее и сформулировать ее так, как ее формулировал Дарвин, но также необходимо быть без глаз, чтобы сейчас не увидеть в этой борьбе как раз обратное тому, что в ней усматривал Дарвин.

Говорить сейчас о том, что “приспособление” органов, т. е., строго говоря, их специализация, ведет к победе приспособленных над менее приспособленными – равносильно мнению Аристотеля, полагающего, что те фрукты, которые

падают с дерева на землю, эволюционируют в птиц, а те, что падают в воду, превращаются в рыб.

Дарвин не дал ответа на вопрос – почему же в таком случае произошло вымирание всех высокоприспособленных к борьбе за существование видов, каковыми являлись гиганты Мезозоя и Кембрия, и наоборот – почему до сих пор сохранили свое существование столь неприспособленные существа, как, например, простая амеба или инфузория.

Сам Дарвин, естественник до мозга костей, когда пытался найти объяснение этим фактам, неминуемо уклонялся от науки естествоведения и впадал в почти что метафизическую философию, бросаясь за помощью к “нравственным” моментам развития биологических единиц, запутываясь в объяснениях и часто даже противореча сам себе.

Не заключалась ли ошибка великого ученого в том, что, уделяя огромное внимание физиологии и морфологии животного царства, Дарвин почти не интересовался и не был знаком с наукой, развившейся лишь за последние 50 лет – с палеонтологией?

Последними неутомимыми трудами Неумейера, Эдуарда Копа, Альберта Годри, Циттеля, Берранде и Ковалевского, мне кажется, доказано вполне обоснованно, что ключ к разгадке всех нас волнующей тайны о происхождении жизни на земле надо искать именно там.

Преимущество этой науки заключается в ее конкретности и материалистичности.

Все прочее – только гипотеза: палеонтология – факт!

Итак, я резюмирую сказанное. Ключ к тайне – в палеонтологии. Но палеонтологией надо уметь пользоваться. Надо идти по каким-то другим путям, чем те, по которым шли до сих пор, и надо терпеливо ждать.

Я твердо верю, что всего лишь в двух, наиболее трудно исследуемых местах земного шара, волнующая человечество тайна еще не совсем зарыта и, следовательно, может быть познана человеком.

Эти места – экваториальный пояс и таинственные полюса нашей планеты.

Когда человеку удастся уничтожить или взорвать огромные напластования льда на полюсах, он сдернет завесу с искомой тайны.

За возможность нахождения на экваториальном поясе если не самой тайны, то преддверия к ней, говорит то обстоятельство, что, по моему глубокому убеждению, начало жизни на земле имело место именно на Антарктиде, ныне погребенной под водами океана, откуда эта жизнь и расползлась путем сложных и часто лихорадочных миграций, с одной стороны, в Америку, а с другой в Австралию.

Там же появился и первый человек. Вот где можно найти, быть может, даже костяк последнего человека, *Homo divinus*'a, филогенетические ветви которого в дальнейшем шли по пути регресса, дегенерации, старости и вымирания, докатившись до современного нам человека (*Homo sapiens*) и обезьяны.

Итак, значит, процесс дегенерации *Homo divinus*'a шел по двум филогенетическим путям.

Одна ветвь регресса шла под знаком наивысшей специализации как внешних, так и внутренних органов, с очень незначительным уклоном в сторону дегенерации мозга.

В конце этой ветви в настоящее время находится современный нам человек.

Другая дегенерирующая ветвь, наоборот, шла под знаком совершенно незначительной и, во всяком случае, крайне медленно протекавшей специализации органов, но зато с уклоном мощного падения мозговой силы и развития центральной нервной системы.

На конце этой ветви в настоящее время стоит человекообразная обезьяна, водящаяся в очень ограниченном числе экземпляров на острове Суматра.

Этих обезьян мы еще не видали.

У боковых потомков второй ветви регресса признаки двуполости еще так ясно сохранились, что нет сомнений в том, что их родоначальник обладал двуполостью.

Впрочем, я твердо убежден, что даже настоящие человекообразные обезьяны еще полудвуполы.

Этим новым термином я хочу сказать, что у оставшихся в живых представителей человекообразных обезьян, кои нам еще не известны, внешние половые органы еще не раздельны, тогда как внутренние половые органы успели уже роковым образом специализироваться.

Самооплодотворения, имевшего место у *Homo divinus*'a, быть уже не может. Орган матки у самцов уже отсутствует.

Каковы же должны быть те условия, при которых возможно изменить естественную эволюцию природы?

Против природы можно использовать с успехом только то самое орудие, которым она сама пользуется в борьбе с нами.

Орудие это – наследственность.

Если бы мне удалось скрестить конечных представителей дегенерирующих филогенетических ветвей, т. е. человека с человекообразной обезьяной, то в результате, уже на третьем поколении, я получил бы существо, облик которого стоял бы весьма близко к *Homo divinus*'у.

Разве искусный садовод не выращивает яблоки на грядах, а помидоры на деревьях? В Америке такие опыты увенчались уже полным успехом и не так давно одному ученому удалось скрестить абрикосовое дерево со сливовым, в результате чего получился фрукт, отвечающий всем требованиям и сливы и абрикоса.

А тут дело представляется еще более простым, ибо те признаки, которые, по теории, наследуются легче всего, сочетаются в наиболее благоприятных комбинациях...».

НЕОЖИДААННЫЙ ДРУГ И НЕОЖИДААННЫЙ ВРАГ

Экспедиция отправилась в путь.

Разбившись на две группы, экспедиция строго придерживалась намеченного маршрута и, хотя очень медленно, но все же с каждым днем приближалась все ближе и ближе к назначенным для стоянок местам.

Отряд профессора Марти уже на четырнадцатые сутки достиг места своего назначения и разбил лагерь на берегу реки Индрагири, катившей свои желтые воды параллельно Кампару в нескольких километрах расстояния.

На другой уже день по прибытии ученые приступили к работам по изучению мела третичного периода, мощными напластованиями залегающего по берегам обеих рек.

Профессору Марти вначале сразу повезло. Не прошло и двух недель, как ученый нашел следы, с несомненностью говорившие за пребывание здесь человека, возраст которого определялся ученым приблизительно в двести тысяч лет.

Таким образом, уже первые шаги экспедиции обогатили мир ценнейшими данными, разрушающими раз и навсегда легенду о кайнозойской эре, как об эре, в которой животная жизнь якобы находилась лишь в стадии развития и, кроме жаберно-дышащих животных и ракообразных, ничем особенным не отличалась от предшествующих ей эр.

Реки Индрагири, Кампар и Сиак, в районах которых производились работы группы профессора Марти, были очень глубоки, вполне судоходны, крайне живописны, и одно лишь обстоятельство необычайно затрудняло дело.

Несмотря на плодороднейшую почву и роскошную растительность, в долинах этих рек не было даже туземных селений, и на протяжении многих десятков километров нельзя было встретить ни единой живой души.

Иностранцы же еще ни разу не отваживались углубляться в долины этих смертоносных рек, зная, какой дурной славой пользуется местный климат, так что экспедиции пришлось вступить в зону, еще совершенно незнакомую человеку.

Поле для исследований было богатейшим, но климат, действительно, оказался совершенно невыносимым, и не мудрено, что смерть, как острый серп, косила всех ранее здесь побывавших отважных путешественников, понадеявшихся исключительно только на свою выносливость.

Участники экспедиции из группы профессора Марти, понятно, могли быть смелее и увереннее, так как ими бы-

ли захвачены с собой из Европы лекарственные препараты, предохраняющие от заболевания малярией, но тем не менее и их постигло очень скоро тяжелое несчастье.

Это несчастье явилось как бы первой грозовой тучей.

Через девять дней, несмотря на ежедневные внутривенные вливания особого мышьякового препарата, тяжело заболел еще совершенно незнакомой врачам формой тропической лихорадки японский ученый, доктор биологических наук, профессор Иокогамского университета – Хорро.

Были приняты все меры, вплоть до применения рентгена и радия, для того, чтобы спасти ученого, который на другой день уже впал в бессознательное состояние, а в ночь на третьи сутки скончался в страшных конвульсиях, за два дня болезни превратившись в обтянутый кожей скелет.

Эта первая жертва экспедиции, эта смерть всеми любимого и уважаемого товарища сильно поколебала мужество остальных членов группы профессора Марти, не остановивших, однако, своих работ ни на одно мгновение.

Смерть профессора Хорро заставила насторожиться профессора Марти, и он приказал старшему врачу своей группы произвести впрыскивание еще совершенно неиспробованного противомаларийного препарата, хранившегося у профессора Марти в очень ограниченном количестве.

Препарат оказался буквально чудодейственным и никто из участников экспедиции не подвергся больше заболеванию страшной болезнью.

Только потому, что клинически препарат этот не был еще изучен, он не применялся ранее, и Марти не мог себе простить, что не применил его к покойному Хорро.

Это было тем обиднее, что, по странной игре случая, этот препарат был изготовлен в лабораториях самого профессора Хорро в Иокогаме.

Не успел еще профессор Марти прийти в себя после первой неудачи, постигшей его группу, как разразилась вторая, сильно расстроившая и взволновавшая ученого, который, как ни ломал себе голову, никак не мог придумать объяснения вызвавшим ее причинам.

Дело в том, что, расставаясь с профессором Мамонтовым, Марти условился немедленно установить, по прибытии на место, радиосвязь с его группой, но, как ни бился Марти, – связь эту ему никак не удавалось наладить.

Это было крайне загадочно, ибо первым делом, по разбитии лагеря, итальянский ученый приказал своим радиотехникам оборудовать походную станцию и установить приемник, что и было исполнено в самый кратчайший срок.

И вот, несмотря на это, ни одна из посланных Мамонтову профессором Марти радиоволн не достигла своего назначения, погибая где-то в пространстве, так что приходилось допустить нечто совершенно невероятное: профессор Мамонтов не установил у себя радиостанции.

Но, отлично зная Мамонтова, профессор Марти считал это единственно допустимое предположение самой большой глупостью, которую только можно придумать.

Чтобы Мамонтов не установил у себя станции и не исполнил данного обещания? О, нет – все, что угодно, но это не могло иметь места!

Что же тогда? Не случилось ли с ним несчастья? Но опять-таки, тогда об установке станции позаботился бы Мозель или кто-нибудь другой из ученых. Не провалились же они все, сколько их там ни есть, сквозь землю? И даже этого было недостаточно для объяснения отсутствия связи. Проваливаясь сквозь землю, они должны были еще захватить с собой и все радиоаппараты. Только тогда можно было бы объяснить это непостижимое обстоятельство. Не иначе.

Все это необычайно волновало профессора Марти, отлично знавшего, что если его путь был труден и опасен, то путь, избранный Мамонтовым, уже никак не мог быть назван иначе как тернистым.

Принимая же во внимание горячность и самоотверженность русского ученого – было от чего волноваться!

Марти решил запросить, наконец, Батавию о судьбе мамонтовской группы, но, увы, вместо успокоения, этот шаг принес ему еще больше волнения и расстройства.

Положительно, с радио происходило что-то в высшей степени непонятное и таинственное.

Все радиотелеграммы его, касавшиеся деловой стороны, благополучно доходили до места своего назначения и профессор получал на них немедленные ответы, но если в телеграмме стояло имя Мамонтова, никакого ответа из Батавии уже не получалось.

И если сначала Марти только волновался и нервничал, то очень скоро уже совершенно растерялся и не знал, что ему предпринять в дальнейшем.

Это случилось тогда, когда старшему радиотехнику французу Лебоне удалось, переключив свой приемник на более короткую волну, поймать таинственную полушифрованную телеграмму, которую удивленный француз и доставил немедленно профессору Марти.

Никто из участников экспедиции не мог понять значения этой депеши, хотя профессор амстердамского университета по кафедре геологии Рамстред и перевел ее всем, так как она была написана по-голландски.

Немедленно запрошенный по этому поводу ван дер Айсинг не отвечал, и Лебоне, как ни старался принять своим приемником еще что-нибудь, ничего поймать не смог.

Очевидно, станция, отправившая эту телеграмму, все время меняла длину своих волн.

А таинственная телеграмма гласила:

«Не допускай. Type. Type. Type. С. У. Марти, Мамонтов нет. Буйволова расселина. Буду».

А в группе профессора Мамонтова в это время происходило следующее.

Первое место стоянки было достигнуто на седьмой день по выходе из Батавии.

Это была та самая знаменитая Буйволова расселина, откуда некогда погибший англичанин Уоллес начал свои, столь печально окончившиеся, поиски таинственно исчезнувшей Лилиан ван ден Вайдена.

Отсюда до конечного пункта пути мамонтовой группы было уже недалеко, – всего 35-40 километров.

Конечный пункт этот, намеченный Мамонтовым совместно с Яном ван ден Вайденом, представлял собой опушку еще совершенно неисследованного тропического леса.

Вокруг опушки, делая бесчисленное количество изгибов, скользя как змея, протекал быстрый ручей, бравший начало, очевидно, из недр неизведанного леса и кативший свои пенные воды в такую же неизведанную даль. Именно отсюда решено было начать обследование, придерживаясь все время берегов ручья, чтобы не сбиться как-нибудь с дороги и не потонуть в лабиринте запутанного леса.

У Буйволово́й же расселины решили остановиться лишь для того, чтобы отдохнуть в этом сравнительно безопасном месте и иметь возможность обстоятельно подготовиться к предстоящим трудностям.

Однако, не успели участники экспедиции обосноваться как следует на месте своей первой стоянки, как произошло довольно неприятное приключение, крайне опечалившее и озадачившее ученых. Старший радиотехник, голландец Вреден, следовавший в хвосте экспедиции, внезапно куда-то исчез, словно сквозь землю провалившись вместе с лошадью, навьюченной всеми необходимыми принадлежностями радиотелеграфирования.

К вечеру того же дня профессору Валлесу, волновавшемуся больше всех и предпринявшему довольно смелые поиски пропавшего голландца, удалось обнаружить в полукилометре пути от Буйволово́й расселины, по направлению к югу, сперва следы босых ног, — что было крайне загадочным, так как решительно все участники экспедиции, даже сопровождавшие экспедицию туземцы-носильщики, носили особую пробковую обувь, — и немного подалее стоптанную сандалию Вредена, забрызганную свежими пятнами крови.

Кровяные пятна были вскоре обнаружены и на окружающей место траве, однако проследить то направление, по которому они некоторое время встречались, не удалось, так как гнейсовые пески успели уже замести все следы на расстоянии сорока-пятидесяти шагов от того места, где

лежала сандалия телеграфиста и где, по всей видимости, и разыгралась ужасная трагедия.

Профессор Мамонтов, которому Валлес доложил о своей находке, отправился к месту страшных следов и, после тщательного осмотра их, вдруг, к немалому изумлению своих ученых коллег, стал на четвереньки и начал обнюхивать землю кругом, совсем так, как это делают собаки-ищейки. Потом он сразу вскочил и выпрямился во весь свой гигантский рост.

К чудачествам русского ученого все уже давно привыкли, и друзья его охотно прощали ему те крайности его характера, которые так страшно не вязались с ним, как с одним из самых выдающихся представителей науки.

– Интересно знать, следы босых ног – следы ли это ног Вредена, снявшего свои сандалии, или кого-нибудь другого? – спросил на обратном пути профессор Валлес все время хранившего молчание Мамонтова.

– Скажите, коллега, – вместо ответа спросил Мамонтов, – разве вы когда-нибудь видели, чтобы большой палец ноги отстоял так далеко у европейца, как он отстоит у того, кто эти следы оставил? Ведь это след обезьяны.

Профессор Валлес не выдержал и спросил:

– Не предполагаете ли вы, что этот след оставлен самим *Homo divinus*'ом?

Профессор Мамонтов искоса взглянул только на своего коллегу и ничего не ответил. В это время ученые входили уже в походную палатку, занимаемую Мамонтовым.

– Во всяком случае, дорогой коллега, – вдруг сказал Мамонтов, – этот самый господин успел во время вашего отсутствия побывать и у меня в гостях.

С этими словами Мамонтов указал пообедавшему англичанину отчетливый отпечаток босой ноги, с характерно оттопыренным большим пальцем на ней, у самой своей походной постели.

– Но что же это все значит, однако? – еле выговорил совершенно ошеломленный Валлес.

– Значит, кому-то не нравится наше пребывание здесь, – спокойно ответил Мамонтов и принялся за проверку своих бумаг, грудой лежавших на кровати.

– Все в порядке? – спросил Валлес.

– Oh, yes, sir! – сквозь зубы ответил Мамонтов и более легкомысленным тоном добавил: – Как видите, деликатность Homo divinus'a не подлежит сомнению. Простой визит в отсутствие хозяина, некоторая заинтересованность наукой и отсутствие каких-либо агрессивно-уголовных намерений.

Профессор Валлес не знал, шутит ли его ученый друг или нет.

– А! А! – вдруг воскликнул он, и Мамонтов увидал, как ужас исказил его лицо.

– В чем дело, коллега, вам дурно? – подбегая к нему, спросил он.

Вместо ответа Валлес показал дрожащей рукой на походный столик Мамонтова, на котором лежала открытая записная книжка ученого.

Было ясно, что ее кто-то перелистывал. А на открытой странице отчетливо виднелся кровавый отпечаток перелистывавшего ее пальца.

Мамонтов подошел к столу.

– Удивительное дело, – сказал он почти радостно после того как через лупу рассмотрел кровавый отпечаток отпечатанного на страницах его записной книжки пальца, – как все эти господа умеют наиталантливейшим образом облегчать задачу сыщикам. Я положительно не слыхал ни об одном злодеянии, участник которого не оставил бы на месте преступления своей визитной карточки.

Однако в глубине души Мамонтову было совершенно не до шуток.

– Идите к себе, дорогой коллега, и пусть все, что случилось здесь, останется между нами. Волновать понапрасну остальных наших товарищей – нет никакого смысла. У меня появился неожиданный враг. Я отправляюсь на поиски неожиданного друга, – сказал профессор Мамонтов и с этими словами, уступая дорогу профессору Валлесу, вышел из

своей палатки и быстрыми, решительными шагами направился к палатке, занимаемой старым ван ден Вайденом.

Палатка ван ден Вайдена была на противоположном конце лагеря и для того, чтобы достичь ее, надо было пройти несколько сот шагов по искусственно проложенной тропинке в густом кустарнике карликовой дикой акации.

Шагов за тридцать до палатки Ван-ден-Вайдена чуткий слух его уловил ясный шорох в кустах, в нескольких шагах от того места, где он находился. Этого было достаточно, чтобы вернуть Мамонтову его душевное равновесие и заставить его вспомнить о том заключении, что успело уже сложиться у него обо всем происходящем. С ошеломляющей внезапностью, сжимая в руке рукоятку револьвера, одним прыжком Мамонтов достиг того места, откуда слышался шорох.

Однако на этот раз опасения и предположения Мамонтова как будто бы не оправдались. В кустах никого не было. Правда, наступила уже ночь, на тропиках всегда такая неожиданная и черная, но ярко-красная луна достаточно ясно освещала местность, чтобы увидеть силуэт человека или зверя, скрывавшихся в кустах. Красные блики луны, словно щупальца прожектора, дрожали на желтом фоне еще пышущих жаром, раскаленных за день отвесных скал.

Мамонтов изменил своему решению идти к ван ден Вайдену и решил сперва обойти лагерь кругом.

Уклонившись в сторону на расстояние одного километра и не обнаружив ничего особенного, он хотел уже было снова направить свои шаги к палатке ван ден Вайдена, как вдруг заставивший его некоторое время тому назад насторожиться шорох снова повторился, на этот раз уже значительно явственнее и ближе.

Мамонтов подошел к скале.

Это была северо-западная оконечность окружающих Буйволоу расселину скал, — прямая, узкая, в несколько сот футов вышины глыба желтого песчаника с большой примесью кварца и сионита, резко обрывающаяся на запад и постепенными ступенчатообразными уступами оканчивающаяся с восточной стороны.

В самой середине, на высоте человеческого роста, ярко освещенная луной, была высечена далеко видная издали дата большими четкими цифрами и, несколько ниже, такими же гигантскими буквами – надпись.

Еще пониже виднелись три длинных черты, вымазанных во что-то красное, шедших одна за другой по одной линии с небольшими интервалами.

19 VIII 1914 СТЕФЕН УОЛЛЕС

— — —

Профессор Мамонтов невольно вздрогнул. Так вот, значит, то место, откуда отважный англичанин начал свои поиски девять лет тому назад.

Вот где, значит, находилось начало смертного пути скотланд-ярдовского агента!

Но почему он всю надпись не сделал красной? И что обозначают эти три черты?

Вглядевшись пристальнее в сделанную надпись, профессор Мамонтов невольно отступил на шаг.

Сомнений не могло быть. Эти три черточки были значительно более позднего происхождения, если не на днях только сделанные.

Зеленый мох, покрывающий выдолбленные ложбинки цифр и букв, сделанных Уоллесом, совершенно отсутствовал в углублениях этих черт, а были они вымазаны... еще не успевшей в достаточной степени потемнеть кровью.

– Да... Конечно, так! – Профессор Мамонтов соскоблил ногтем немного этой красной «краски» себе в ладонь, размешал ее немного со слюной и, вытирая руку платком, невольно улыбнулся.

Это была та же кровь, что и там... на траве и на сандалиях голландца.

«Это интересно, – подумал ученый. – Неясным остается лишь одно: что эти черты изображают?» – И вдруг, хлопнув себя по лбу, воскликнул:

— Да как это просто все! Ну, конечно же, это так! Кто-то подает условный знак тому, кто должен еще прибыть и убедиться в присутствии своего союзника на месте. Вот и все!

В это время кто-то осторожно дотронулся до его плеча.

Профессор Мамонтов резко повернулся, выхватывая из кармана брюк свой револьвер.

Перед ним стоял старик ван ден Вайден.

— Ах, это вы, — облегченно вырвалось у него. — А я думал... Я как раз собирался идти к вам.

Ван ден Вайден перебил его:

— Вы выбираете для своих целей чересчур запутанные пути, дорогой профессор. Путь ко мне гораздо ближе и проще того пути, по которому вы изволили идти. И я очень скорблю, что вы предприняли свой осмотр окрестностей, не зайдя предварительно ко мне. Тем более, что я прекрасно знаю, зачем вы хотели повидать меня. Нельзя быть столь неосторожным. Прогулки в наших местах в одиночку очень напоминают утонченный способ самоубийства. Уверяю вас. Кроме хлопот, вы мне вашим недоверием ничего не доставили, так как мне пришлось все время быть настороже и невидимо следить за вами. Я до известной степени отвечаю Европе за вас, дорогой профессор.

Ван ден Вайден говорил с такой горячностью и сердечностью, что Мамонтов внезапно почувствовал прилив особого доверия и расположения к этому странному старику, четверть века уже рыскающему по непроходимым зарослям тропиков.

— Наоборот, — с такой же горячностью воскликнул он. — Я не только не недоверяю вам, но я именно и направлял свои шаги к вам для того, чтобы искать в вашем лице помощника и друга. И, если я временно изменил своему решению, то лишь по причине своей горячности, заставившей меня несколько увлечься...

— И забыть всякую предосторожность, — улыбнулся ван ден Вайден.

— Да, может быть, — отвечал Мамонтов. — Но что же делаешь, таков мой характер! Однако, скажите: вот вы,

охотник, убивший своими руками тысячи живых существ, дрогнули бы ваши руки, если б вам пришлось спустить курок ружья, дуло которого было бы направлено на... человека?

Ван ден Вайден был поражен внезапностью вопроса, но, стараясь не показать этого, спокойно ответил, как будто бы разговор и шел все время именно на эту тему:

– Нет. В моей скитальческой жизни был такой случай. Как раз в тех лесах, куда мы направляемся, одно время появился беглый голландский каторжник. Никакие усилия властей найти его ни к чему не привели. Да и разве можно что-нибудь найти в этом первородном хаосе? Однако, мне пришлось столкнуться с ним лицом к лицу. Я не намеревался его ловить. Мне до этих вещей, которые называются громким и пышным именем «правосудие» – нет никакого дела. Но он, к сожалению, принял меня за правительственного агента. Объясняться не было времени. Такие вещи разыгрываются скорее, чем это может запечатлеть на своей ленте кинематограф. Секунды – слишком громоздки, чтобы измерять время, в течение которого все уже кончается. Выбора не было никакого. Оба, и его и мой револьверы – были подняты. Для меня было совершенно ясно, что мы оба выстрелим друг другу в упор, одновременно. Для него, конечно, это было так же ясно, как и для меня. Ну... так оно и случилось. Только, видите ли, его револьвер дал осечку. До сих пор перед моими глазами стоит его не то удивленное, не то испуганное лицо с большими рыжими усами и бритой головой. Только, уверяю вас, когда он упал, мне показалось, что это было гораздо легче, чем проделать то же самое со зверем. Человеческая жизнь стоит очень дешево. За нее никто не мстит. Зверь умирает гораздо торжественнее. Нет. У меня твердая рука.

Вместо ответа Мамонтов протянул ван ден Вайдену руку.

– Я знал, что получу такой ответ, – сказал он. – Вы, конечно, были удивлены моим вопросом, как сейчас недоумеваете над моим рукопожатием. Но, видите ли, в чем дело: у меня объявился неожиданный враг, и мне нужен союзник решительный, энергичный и закаленный. Иначе

может погибнуть все дело экспедиции. А этого я уже не могу допустить. А насколько я могу судить, мой враг не остановится ни перед чем для достижения цели, и... дай Бог, чтобы мое пророчество не исполнилось, но я предвижу возможность, заставившую меня задать вам свой вопрос.

— И вы нисколько не ошибаетесь, — к удивлению Мамонтова, ответил Ван-ден-Вайден. — Я слишком хорошо знал и знаю, что вам будут чинить всяческие препятствия в вашем деле, не останавливаясь ни перед чем. И не потому что вы приехали сюда искать ваши филогенетические ветви, а потому, что... ваши поиски снова воскрешают возможность отыскания моей дочери, что кому-то, по непонятным мне причинам, совершенно не желательно. Я, когда был один — не страшен этому «кому-то», но я в центре вашей экспедиции — уже прямая угроза...

— Я не совсем понимаю, какое отношение к этому имеет ваша дочь? — перебил Мамонтов.

— Вернее, не хотите понять это.

— Но кто же заинтересован в этих поисках, в конце концов, кроме вас одного?

— Пастор Берман.

— Что-о?

— Профессор, забудьте на время ваше джентльменство по отношению к людям. Вы сами говорите: дело вашей экспедиции в опасности. Вопрос необходимо ставить ребром, тем более, что... простите меня, — вы сами обо всем догадываетесь.

— Но ведь это же чудовищно! И в конце концов все-таки непонятно, чего ему опасаться?

— О, милый друг, если б я это знал только! Уверяю вас, что этот господин топчет своими ногами землю только потому, что я не желаю убрать его отсюда, не разгадав тайны... Однако у меня есть догадки, конечно... Они появились у меня с особенной силой тогда, когда погиб этот молодой англичанин, имя которого высечено здесь на скале: погиб или тоже исчез — не знаю, но, во всяком случае, и тут дело не обошлось без участия уважаемого священнослужителя...

– Но это только ваше предположение, или тоже...

– Да. До сегодняшнего дня это было только моим предположением. Но с сегодняшнего... – ван ден Вайден весело расхохотался. – Ну, довольно играть в прятки, – сказал он. – Пора начать действовать. Взгляните-ка сюда. Это то, что я нашел сегодня днем недалеко отсюда, когда вы были в отсутствии. Вот почему я и следил все время за вами, опасаясь, как бы...

С этими словами ван ден Вайден разжал свой левый кулак и показал изумленному Мамонтову большой наперсный крест черного дерева с изображенным на нем серебряным распятием.

– Сим победиши! – иронически воскликнул он и добавил: – Я хорошо знаю этот крест. Он принадлежит ему. Судя по тому, что он не успел еще покрыться слоем пыли в тот момент, когда я его нашел, хозяин, должно быть, обронил его только сегодня, и несомненно, что он еще где-то скрывается поблизости.

– И имеет сообщника, – добавил Мамонтов.

– Почему вы думаете? – спросил ван ден Вайден. – Я это тоже предполагаю, но у меня нет данных для этого.

– Зато они имеются у меня. Это отпечатки голой ступни и условные черточки под именем мистера Уоллеса.

Ван ден Вайдена вдруг как бы осенило что-то.

– Господи! – воскликнул он, – ну, конечно же. Три черты – это знак, посредством которого менанкабуазцы скрепляют свои письменно даваемые обещания. Это нечто вроде нашего «во имя Отца, и Сына, и св. Духа». С ним здесь его слуга.

– Теперь и мне все ясно, – сказал Мамонтов. – Большой палец ноги этого сообщника так сильно отстает от остальных, что нет сомнения в том, что ступня, отпечаток которой нашел профессор Валлес, принадлежит не европейцу, а представителю расы, стоящей на очень низкой ступени развития. Его слуга ведь туземец?

– Да. Очередь была за вами, но господин пастор, кажется, ошибся, ибо, если он не останавливается перед убийствами для достижения своих целей, то теперь я, которому

надоело уже дожидаться разгадки тайны, и подавно не остановлюсь перед ними. Аминь.

— Вы не совсем правы, дорогой друг, — мягко сказал профессор Мамонтов. — Позвольте мне выступить на минуточку в качестве... защитника пастора Бермана. Меня-то, может быть, он и хотел убить, но этот господин понапрасну кровь, видимо, не проливает. Вреден — это только незначительная помеха ему, и он не убивал его. Вреден просто похищен им.

— Похищен?

— Да. Сандалия и кровавые пятна на гнейсе — довольно примитивная симуляция. Кровь не принадлежала человеку. Я это узнал по запаху который образуется в результате соединения гнейса с кровью. Запах этот, очень сильный в человеческой крови, — в данном случае отсутствовал совершенно. Это была птичья кровь. Это было легко определить и по ее сгусткам, так как свертываемость птичьей крови значительно разнится от свертываемости крови человеческой. Черты на скале вымазаны этой же кровью.

— Пусть так, — воскликнул ван ден Вайден, пришедший внезапно в состояние сильного гневного возбуждения. — Пусть так, это, в конце концов, нисколько не меняет дела. Пока этот господин не будет убран с пути, до тех пор дело на лад не пойдет. Это ясно. Я, понятно, не проповедую убийства, но надо, во всяком случае, поймать этого молодчика как можно скорее и окончательно обезвредить его. Арестовать на все время наших работ. Ответчиком перед голландским правительством за эту меру буду я, но мне думается, что я столкнусь с господином пастором и он предпочтет не затевать против меня дела. Итак, профессор, не зевать, а действовать решительно и быстро!

«МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ»

Дальнейшие события разыгрались гораздо решительнее и быстрее, чем того хотел в глубине души сам Ян ван ден Вайден.

Мамонтов за всю свою богатую приключениями жизнь достаточно хорошо и правильно оценивал события. Тотчас же после разговора с ван ден Вайденом он сообразил, что неожиданно появившийся враг, вернее, даже не его, Мамонтова, а его, главы экспедиции, посягнувшей на тайны Малинтагских лесов, очень серьезен и, наверное, ни перед чем не остановится для того, чтобы помешать эти тайны обнаружить. В эти мрачные тайны тропических лесов каким-то непонятным образом был замешан маленький чиновник голландского духовного ведомства, рыхлый, толстый и невзрачный.

Мамонтов решил прежде всего держать как можно дальше в стороне от всего происходящего всех остальных членов экспедиции для того, чтобы не волновать их и не мешать правильному ходу их подготовительных работ. Ведь все они были лишь учеными, хозяевами уютных кабинетов, мягких войлочных туфель и вышитых халатов, и ничего общего с экзотикой, а тем более уголовной, не имели и, узнай они, какие тайны сопутствуют им в их и без того не легком пути, — работа их остановится, как останавливается маятник дорогих часов, повешенных на стене сырого подвала. Покой их необходимо беречь.

Второе решение, к которому пришел Мамонтов, заключалось в том, чтобы тотчас же начать поиски несчастного Вредена, и ради него самого, и в виду острой необходимости наладить как можно скорее связь с Марти и Батавией.

Поделившись с одобрявшим его решение ван ден Вайденом, Мамонтов предложил голландцу разойтись по домам до наступления утра. Ван ден Вайден и на это согласился, и оба тронулись в обратный путь.

Увлечшись разговором, они не заметили, как дошли уже до тропинки, где им надлежало расстаться. Палатка ван

ден Вайдена помещалась в нескольких стах шагов отсюда направо, а Мамонтова — налево.

Мамонтов взял руку ван ден Вайдена и крепко пожал ее.

— Спасибо, милый друг, за доброе мнение обо мне. Высшим счастьем было бы для меня оправдать его в ваших глазах. Давайте расстанемся сегодня для того, чтобы завтра с новыми силами приняться за дело. Уверяю вас, что господин представитель Бога на земле и дьявола на небе — не уйдет от нас. Он стал на моей дороге? Что же! Тем хуже для него. Он, господин пастор Берман, видимо, не знает, с кем он имеет дело, — больше ничего. Иначе он не стал бы мне ставить палки в колеса. Я — ученый. Это верно и не подлежит сомнению, но... не одна только школа науки пройдена была мной в жизни! Это часто забывают те, кто имеет со мной дело. Если господин пастор Берман полагает, что я всю жизнь провел у себя в кабинете за пыльной книгой, прокуренной трубкой и чашкой всегда холодного кофе — он имеет плохое обо мне представление.

Жизнь — вот действительный мой университет. И может быть, даже науке-то меня настоящей научила не книга, а именно жизнь. Какая ошибка многих, если не всех ученых, что в первой половине своей жизни они были уже учеными, а не шарманщиками, маклерами, бродягами или клубными шулерами! Ах, уверяю вас, если б они знали жизнь лучше, если б они ближе соприкасались с ней, — от этого наука только выиграла бы. Опыт науки не должен производиться в лабораторных условиях, ибо наука и жизнь — это одно. Жизненный опыт — лучший лабораторный метод исследования.

Господин пастор Берман удивился бы и, пожалуй, не поверил бы, если б узнал, что знаменитый ученый, профессор Мамонтов, всего каких-нибудь пять лет назад предводительствовал конным отрядом красных разведчиков, и в Беловежской пуще, окруженный поляками, проваливаясь по колено в мшистых болотах непроходимого леса, спасаясь от холода, заползал в распоротое, еще горячее и дымное брюхо своей лошади, и, упорно не желая рас-

статься с той шуткой, что называется жизнью, жадно глотал горячую кровь. Я видел больше в своей жизни, чем это мог видеть господин пастор Берман в самом необузданном сне. И... я привык принимать вызов, когда его мне кидают.

Доброй ночи, господин Ван-ден-Вайден! Еще раз спасибо вам за содействие и дружбу. Отдохните как следует и помните: если кто-нибудь достоин сожаления во всем этом деле, то это пастор Берман. Только его одного и приходится пожалеть в настоящую минуту.

Мамонтов крепко пожал руку собеседника и пошел к своей палатке.

Ван ден Вайден молча поглядел некоторое время ему вслед, потом, поворачиваясь в свою сторону, улыбнулся и покачал головой, подумав про себя:

«Действительно, я тоже начинаю опасаться за судьбу бедного пастора!..»

Вскоре он достиг уже своей палатки, и, как бы нехотя, вошел внутрь...

Но Мамонтову положительно не сиделось на месте. Он был слишком взволнован происшествиями дня.

Посидев некоторое время у своего импровизированного письменного стола, он снова поднялся и вышел дышать еще немного хотя и душным, но все же более свежим воздухом, чем тот, которым приходилось дышать в палатке.

Дальше порога своего кочевого жилища он первоначально и не намеревался идти, но вскоре уже понял, что неотвязчивая мысль влечет его снова туда – к скале, на которой было высечено имя Стефена Уоллеса, и еще раз осмотреть окрестности.

Колебания длились недолго. Не прошло и получаса после прощания с Ван-ден-Вайденом, как он уже снова зашагал по тропинке, проложенной в диком кустарнике. Сперва он хотел зайти за стариком, желая исполнить данное ему обещание ничего не предпринимать одному, но когда, подойдя к палатке Ван-ден-Вайдена, он убедился, что огонь у него уже погашен, решил все же отправиться в одиночку, не желая будить и беспокоить своего нового друга.

Духота наступившей ночи была почти невыносима. Тишина вокруг стояла гробовая, только изредка раздавался сухой треск, короткий и резкий. Это трескались наиболее раскаленные за день камни окружающих скал, и звук этот неприятно напоминал о скором наступлении нового беспощадно-знойного дня. Все же по ночам, как бы невыносима ни была духота, она переносилась много легче раскаленного горна солнечных суток.

Сперва все шло благополучно и решительно ничто не воспрепятствовало Мамонтову добраться до скалы мистера Уоллеса.

К западу от этой скалы, там, где она обрывалась в страшный провал бездонной расселины, росли по краям мелкие кусты выродившейся акации и толстостигного кактуса. Еще так недавно маячивший огромный шар огненного солнца оставил воспоминание о себе в виде длинной, по всему горизонту протянутой ленты, более светлой, чем все остальное небо, которая, казалось, фосфоресцировала и дрожала, перебиваясь волнами электричества.

Покинутый лагерь расположился неподалеку, но совершенно не был видим, так как был скрыт от глаз восточными ступенями уоллесовой скалы.

Мамонтов шел довольно рассеянно, медленно продвигаясь вперед и, хотя внимание его и было устремлено на скалу, мысли не могли ни на чем определенном сосредоточиться и все витали вокруг неопределенных воспоминаний, очень часто возвращаясь к истории исчезновения дочери Яна ван ден Вайдена, которой Мамонтов успел за последнее время сильно заинтересоваться, постоянно беседуя о ней с несчастным отцом.

В таком сосредоточенном состоянии Мамонтов, естественно, не обратил никакого внимания на узловатый пучок спутанного хвороста, внезапно появившийся на его пути как раз в ту минуту, когда он находился между западной отвесной стеной скалы и страшной расселиной, расположенной всего в двадцати шагах расстояния от скалы. Мамонтов тяжело наступил на хворост правой ногой и даже раз-

давшийся треск сухих ветвей не вывел его из задумчивости.

Однако не успел он сделать следующего шага, как мгновенно почувствовал жгучую боль в правой ступне. Мамонтов вздрогнул, — первой его мыслью было, что он ужален спрятавшейся в хворосте ядовитой змеей.

Но не успела эта мысль еще оформиться как следует в его голове, как Мамонтов, внезапно теряя равновесие, тяжело рухнулся оземь во весь свой гигантский рост.

При неудачном падении на твердый известняк дороги, полученный удар был настолько силен, что на несколько секунд лишил ученого сознания.

Придя в себя, Мамонтов, продолжая ощущать почти невыносимую боль в правой ноге, одновременно почувствовал, что, влекомый какою-то сверхъестественной силой, быстро скользит всем телом к страшной пропасти, как раз к тому месту, в котором расступившийся кустарник образовал свободный проход, — как бы открытые двери в ее бездонную черноту.

Не прошло и секунды, как Мамонтов понял все.

Он попал ногой в петлю толстой веревки, спрятанной в хворосте; мгновение — и петля затянулась вокруг ноги, кто-то дернул за веревку; тело, потерявшее равновесие, грохнулось оземь, и теперь, как связанного барана, его тащат к гибели.

Уцепиться было не за что.

Дорога была гладка и полирована как зеркало, а тянувший веревку тянул ее с такой проворностью и быстротой, что уже секунд через пять Мамонтов находился от края пропасти всего на расстоянии каких-нибудь 8-9 шагов.

Ножа у него с собой не было. Он попытался приподняться, но это плохо удалось ему.

Тогда, скорее инстинктивно, чем обдуманно, он, напрягая все мышцы тела, резким броском тела перевернулся на левый бок и с быстротой молнии извлек из правого кармана свой револьвер, направил дуло по тому направлению, где приблизительно должна была быть протянута веревка, и наугад, не целясь, выстрелил.

Гулким эхом прокатился выстрел по отвесным громадам доисторического гнейса, и Мамонтов сразу же почувствовал облегчение в ноге.

До раскрытого зева расселины оставалось всего три шага.

Как согнутая пружина, освобожденная от сдавливавшей ее силы, взвивается в воздух, вскочил Мамонтов на ноги и... очутился лицом к лицу с пастором Берманом.

Кто-то сзади пастора пронзительно вскрикнул и чья-то тень мелькнула стрелою между кустами акации, быстро исчезнув в чернильной темноте ночи.

— Меланкубу! — крикнул пастор, но никто не отозвался на его зов.

Тогда пастор поднял руку по направлению к лицу профессора Мамонтова. Рука эта сжимала рукоятку револьвера.

Вскакивая на ноги, Мамонтов выронил из рук свой револьвер. Нагнуться и поднять его — было равносильно самоубийству. Дуло бермановского кольта почти касалось его переносицы. Он почти ощущал это прикосновение к себе холодной стали.

— Вы рассеянны, как настоящий ученый, мой дорогой профессор, — не опуская руки и держа Мамонтова все время на прицеле, сказал пастор Берман с удивительным цинизмом. — Однако, к делу: я надеюсь, что после всего случившегося между нами вы сами отлично поймете — что у меня для спасения собственной персоны только один выход — спустить курок.

— Стреляйте, — спокойно сказал Мамонтов и почувствовал, как какая-то удивительно приятная апатия успокаивающей волной пролилась по всему его телу.

— Да. Я это сейчас и сделаю. Только мне необходимо первоначально объяснить. Мне ведь никогда не удастся больше этого сделать. Не правда ли?

Мамонтов чувствовал, как полное безразличие все больше и больше поглощает его.

— Как хотите, — сказал он. — Слушать я все равно не буду. Что же касается меня, то мне хотелось бы закончить

свою жизнь уверением вас в том, что из всех негодяев, которых мне когда-либо приходилось встречать на свете, вы – самый непревзойденный.

– Вот именно по этому самому поводу мне и хотелось бы объясниться с вами. Я хотел вам доказать, что действую отнюдь не из подлости, а наоборот, по соображениям самого высшего характера. Я – защитник Господен. Я не убиваю вас, а вырываю вас, как должен вырывать всякое зло, с корнем. Только и всего. Такие люди, как вы, не должны жить. Они уничтожают единственную радость человека – веру в его божественное происхождение. Что же делать? Христианство часто несет за собою не мир, а меч. Впрочем, вы, кажется, не слушаете меня?

Мамонтов молчал.

– Ну, что же, – вздохнул пастор Берман, – тем хуже для вас. Будьте любезны не шевелиться. Я стреляю хорошо и отнюдь не намерен причинять вам напрасные страдания. Да благословит меня Господь!

Пастор Берман прищурил правый глаз и прицелился.

Но... нажать курок ему не удалось...

Внезапно прогрехотал оглушительнейший, как гром, грянувший откуда-то сбоку выстрел, и окровавленная рука пастора Бермана беспомощно повисла, выпуская тяжелый револьвер, грузно шлепнувшийся к ногам профессора Мамонтова.

В ужасе подняв кверху свою кисть, из которой черным фонтаном брызнула кровь, пастор Берман отступил на шаг назад, совершенно забыв, что за ним страшная пропасть.

– Стойте! – испуганно крикнул Мамонтов. – Вы провалитесь!.. – Но... предупреждение прозвучало слишком поздно.

Судорожно ухватившаяся за край обрыва левая рука пастора была не в состоянии удержать его тела, и с тяжелым стоном пастор Берман рухнул, как бесформенный мешок костей и мяса, куда-то вниз, в бездонную глубину.

С легким шуршанием покатались вслед за ним мелкие камешки известняка и долгое время было слышно, как они шуршат по отвесным скалам мрачной расселины.

Профессор Мамонтов шагнул к пропасти и, став на колени, отстраняя руками низкорослые кусты, заглянул вниз.

Кроме черной ночи, холодно взглянувшей в его расширенные зрачки, там ничего не было видно...

– «Мне отмщение и аз воздам», – с угрюмым спокойствием сказал подошедший к Мамонтову ван ден Вайден, опуская свое ружье, из дула которого еще шел легкий запах пороха и дыма.

Книга третъя

ДНЕВНИК МИСТЕРА УОЛЛЕСА

ТАИНСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Дела экспедиции после трагедии, разыгравшейся у Буйволовой расселины, сразу же стали подвигаться вперед.

Только сейчас стало ясным и Мамонтову и ван ден Вайдено, искренно привязавшимся друг к другу, какую огромную роль играл скромный по внешности священник в яркой и красочной жизни острова, залитого ослепительными лучами тропического солнца.

Даже самые незначительные, казавшиеся раньше вполне естественными, неудачи и помехи, мешавшие правильным работам ученых, всюду сопровождавшие их, как стая надоедливых moskitov, внезапно совершенно прекратились и исчезли, словно злой дух покинул проходимые экспедицией местности.

Проводники не заводили больше экспедицию в непролазные и непроходимые места; деревни, мимо которых продвигалась экспедиция, встречали белых без враждебности; исчезла ничем необъяснимая ненависть к участникам научной экспедиции; слуги и носильщики научились повиноваться беспрекословно, и мгновенно прекратилось их массовое дезертирство в глубь острова, что особенно затрудняло продвижение экспедиции вперед.

Несчастный Вреден, лишившийся от голода и жажды сознания, был найден Мамонтовым и ван ден Вайденом на третий день после катастрофы у Буйволовой расселины, в одной из многочисленных трещин, избороздивших всю местность скал, почти недоступной и искусно замаскированной горами камней и диким кустарником.

В этой самой трещине скрывался и Меланкубу с пастором, и пока они еще были здесь, Вредена, хотя и держали все время связанным, — поили и кормили: после же гибели Бермана и бегства Меланкубу он остался брошенным на произвол судьбы, и возможность его дальнейшего существования была предоставлена его собственному усмотрению.

Прекрасные части радиоаппаратов, взятые Вреденом, были сброшены в пропасть, и бедный Вреден страдал от этого, пожалуй, больше всего.

– Я просил их бросить туда лучше меня, – как бы извиняясь за события, рассказывал он сконфуженно Мамонтову, когда был приведен ученым в чувство, – да вот, поди же, что я мог поделаться с этими дьяволами? Они ни за что на эту комбинацию не согласились.

Когда же несчастный голландец, представлявший полную противоположность своему почтенному соотечественнику, узнал, что пастор, в свою очередь, последовал вслед за аппаратом в бездонную пропасть, он пришел в настоящий ужас и, при громком хохоте ван ден Вайдена, схватив за руку не могущего скрыть улыбку Мамонтова, воскликнул:

– О... о... Господи! По-моему, этот дьявол сумеет воспользоваться обстоятельствами даже и в самой преисподней и начнет теперь посылать с того света радиотелеграммы во все радиоприемники Европы! Угораздило же его, прости Господи, выбрать подобный образ смерти. Это не иначе как с каким-нибудь расчетом, – смею вас в этом уверить!

Однако особенно долго не пришлось печалиться пропажей радиоаппаратов.

Вскоре опытным голландцем была найдена поблизости антенна и очень недурной радиоаппарат, посредством которого Меланкубу сообщался со своим хозяином.

Таким образом, уже через несколько дней удалось установить связь между обеими группами экспедиции и вскоре Мамонтов уже знал от Марти о всех делах его группы.

Марти не преминул сообщить Мамонтову о таинственной радиотелеграмме, перехваченной Лебоне, которая была Мамонтовым тотчас же расшифрована. Это Берман телеграфировал своему слуге:

«Не допускай», т. е. не допускай его, Мамонтова, продвинуться дальше. «Тире, тире, тире. С. У» – видимо, обозначало приказание сигнализировать о своем присутствии тремя символическими чертами на скале Стефена Уоллеса. «Марти – Мамонтов нет» – был приказ о недопущении

радиосвязи между обоими учеными и, наконец, «Буйволо-ва расселина. Буду» – было назначение места свидания и обещание прибыть к условленному месту.

Однако самому Марти Мамонтов ничего не сообщил, прося его успокоиться и не придавать этой телеграмме никакого значения – мало ли где, как, почему и кем употреб-ляются-де-мол имена известных ученых Европы, так как всю историю с пастором Берманом и его гибель он совме-стно с ван ден Вайденом условились скрыть решительно от всех участников экспедиции.

Об этом решении было сообщено Вредену, которому при-казано было рассказывать, что он подвергся просто напа-дению диких туземцев, но сумел, в конце концов, отбиться и бежать, захватив с собой самые необходимые части для радиотелеграфирования.

Ван дер Айсинг, узнав об исчезновении пастора, преду-предившего барона о своем отъезде к окрестному духовен-ству для усиления борьбы с язычеством, естественно при-писал исчезновение пастора новому взрыву мести со сто-роны непримиримых ачинцев, и дело ограничилось всего лишь высылкой карательного отряда, вооруженного креп-кими плетями для порки многочисленных вождей еще бо-лее многочисленных племен, и соответствующим сообще-нием в Амстердам.

Всеми силами старался Мамонтов поднять дух и на-строение своей группы, но это удавалось ему с большим тру-дом и то лишь на короткое время. Ученые, благодаря ред-чайшим и ценнейшим палеонтологическим находкам, до-бытым и блестяще расшифрованным профессором Мозелем, начинали считать затею профессора Мамонтова, направлен-ную к отысканию довольно проблематических существ, мало на чем основанной фантазией, и мнения явно стали скла-дываться с каждым днем все больше и увереннее на сторо-ну теории Дарвина.

У очень немногих теплилась в душе еще надежда оты-скать человекообразных обезьян Мамонтова, но даже и эти немногие готовы были спастись перед теми трудностями, с которыми были сопряжены эти поиски.

Необходимо сначала взорвать на воздух всю эту проклятую путаницу совершенно непроходимых лесниц, в которых до сегодняшнего дня никто еще из имеющих право называть себя человеком не умудрился побывать, для того, чтобы начать предполагаемые работы. Мы, представители человечества двадцатого века, несмотря на всю нашу технику и вооруженность, еще слишком не подготовлены для этого.

— Ну, как вы изволите пролезть сквозь эти дьявольские джунгли? — нервно спрашивал профессора Мамонтова один из наиболее непримиримых противников его, француз Дероне, профессор Сорбонского университета и вице-президент Пастеровского института в Париже.

Еще больше упало настроение среди ученых, когда профессор Валлес, один из наиболее выдающихся ученых мамонтовской группы, заболел тяжелой формой дизентерии, грозившей принять смертельно истощающую организм хроническую форму.

Бедный англичанин превратился в египетскую мумию и впал «в тихое философствование», как выразился профессор Мозель.

— Дорогой коллега, — сказал он однажды Мамонтову, с трудом проглатывая лошадиную дозу ипекакуаны, — положительно старина Бонне был прав в своей натурфилософии. Помните его рассуждение о кошке и розовом кусте? «Любой профан, — говорил Бонне, — сумеет отличить кошку от розового куста и расскажет вам, какая между ними существует разница». А вот мы, ученые, до сих пор не можем этого сделать. И то и другое мы называем «живым существом» и тщетны наши родовые потуги, чтобы открыть миру математическую формулу, разрешающую не видовую их разницу, а внутреннее их различие. Что вы скажете по этому поводу? Ведь, если подумать как следует, не должны ли мы будем согласиться, что истина ускользает из наших рук благодаря нашим чересчур умным головам?

— Вы забыли, дорогой друг, что профан в примере Бонне исходит из идей частных, а философ из общих идей. Мы же, ученые, должны стремиться к тому, чтобы не было идей

частных, потерявших связь с общими, и чтобы не было ни одной общей идеи, не подтвержденной идеей частной, — серьезно отвечал Мамонтов, и, неодобрительно покачивая головой, добавил:

— У нас в России подобное состояние ума называется пораженчеством, сэръ Валлес!

— Вы неправильно поняли меня, коллега, — оскаливая желтые зубы, воскликнул англичанин. — Я далек от желания констатировать бессилие науки. Я сделал лишь осторожное вступление к желанию заново опровергнуть вашу теорию дегенерации. Я твердо верю, и даже почти знаю, что мы идем к прогрессу, а не к регрессу. Мой дед, известный в свое время ученый, доктор медицинских наук, лорд Роберт Чарльз Валлес, умер от дизентерии, заразившись этой болезнью в вашем Севастополе во время пребывания там соединенной турко-англо-французской эскадры в 1855 г., уже на третий день болезни. А вот я — внук своего деда, — заполучив более опасную форму этой интеллигентной болезни, продолжаю не только жить, но даже и думать, спустя целых две недели после появления первых признаков заболевания. Как хотите, но это удивительно. Мы идем, вне всяких сомнений, к прогрессу. Мы скоро достигнем совершенства. Тысячу раз прав мой великий соотечественник мистер Дарвин: нужда вызывает желание. Желание вызывает появление новых органов. Анатомируйте после смерти моей мои внутренности, и вы убедитесь, что у меня за это время образовалось придаточное заднепроходное отверстие, ибо старое никак не могло справиться с непосильно взваленной на него работой.

Мамонтов снова покачал головой, но на этот раз промолчал и заставил горящего как в огне и начинавшего бредить англичанина проглотить тройную дозу хинина, растворенного в горячем красном вине. Затем всунул ему под мышку градусник, собственноручно покрыл его сеткой, служившей защитой от укусов mosquitos, и сказал бодро и весело:

– Ну-ну, добрый друг! Терпение и мужество. Еще неделя, и вы будете снова записаны в приходной книге нашей экспедиции!

Время шло, одновременно, и томительно и быстро.

Прошло уже целых три месяца, как экспедиция покинула Буйволову расселину и окончательно расположилась для своих работ на месте, намеченном Мамонтовым, у самого предверия Малинтагских лесов, но, за исключением одной лишь опушки леса и берегов извилистого ручья, еще ничего исследовано не было.

День за днем уходил в скучных, ничего нового науке не приносящих работах, хотя Мамонтов с не разлучавшимся с ним уже почти ни на шаг ван ден Вайденом оставляли лагерь далеко позади себя и частенько углублялись в дремучие заросли леса, пренебрегая всякой опасностью и забывая об осторожности...

Ван ден Вайдена, хорошо знавшего эти места, но давно уже здесь не бывавшего, сильно поразило то, что никакой хоть сколько-нибудь открытой опасности нигде не чувствовалось.

Лес оказался как бы вымершим, почти гробовое молчание царило в нем и даже следов диких зверей нигде не было видно. Не отыскать было и следа столь страшных лесных жителей, некогда безусловно населявших эти места.

Получалось впечатление, будто все живое ушло отсюда прочь, не то совсем покинув эти места, не то углубившись дальше в лес.

Причина этого бегства казалась старому охотнику совершенно непонятной и таинственной. На Мамонтова же, хотя и поражавшегося бедностью местной фауны, но не знавшего ранее этих мест, это отсутствие жизни в лесу не действовало так сильно и удручающе, как на ван ден Вайдена.

– Я никогда не видал тропического леса, который бы молчал, – с почти суеверным ужасом жаловался своему другу старый охотник.

– А я был всегда того мнения, что рассказы о непроходимости этих лесов сильно преувеличены, – весело отвечал

Мамонтов, все больше и больше убеждаясь в том, что ничто ему не помешает в будущем проникнуть в эти заросли поглубже и поосновательнее.

Ван ден Вайден только головой качал и разводил в недоумении руками.

После долгого времени настал, наконец, такой момент, когда, казалось, рассеялась однообразная непроглядная тьма скучных ежедневных будней и взбудоражилось все сонное царство ученых, переставших уже окончательно верить в успех мамонтовского дела.

Как-то вечером, вооружившись своим прекрасным ружьем, Мамонтов предложил ван ден Вайдену отправиться с ним в лес. Ван ден Вайден, сильно страдая в течение всего дня невыносимой головной болью, принужден был отказаться, и Мамонтов отправился один.

Лес сонно и горячо дышал своими влажными испарениями. Таинственные шорохи прерывали могильную тишину, и резко щелкали под ногой сухие сучья, оторванные от гигантских деревьев.

В тяжелой задумчивости ученый забирался совершенно машинально все глубже и глубже в таинственную чащу деревьев, точно рукой искусного корзищика переплетенных между собой пружинно-крепкими лианами, цепко охватившими своими обезьяньими лапами корявые стволы лесных гигантов.

Было жарко и душно, как в оранжерее, и отвратительно пахло газами, выделявшимися от медленного гниения органических веществ. Изредка вздрагивал тяжелый воздух, разрываемый истерически клокочущим гортанным выкриком красного какаду и откуда-то издалека, заглушенно и придавленно, казалось, из глубин, совершенно уже недоступных человеку, отвечал ему протяжный вой, напоминавший плач ребенка, юрких и трусливых обезьяньих стад, скрывающихся в сладких листьях дурмана и диких бананов.

Где-то уже далеко в стороне, – но где именно, определить было очень трудно, Мамонтов слишком далеко забрался, – журчал ручей, и Мамонтову почему-то показалось, что совсем рядом, в том направлении, по которому слыша-

лись всплески волн, должна находиться открытая полянка, покрытая ослепительно яркими, роскошными тропическими цветами, залитая косыми лучами красного солнца, благоухающая ароматами пряных трав и сочных плодов окружающих деревьев.

Мамонтов продолжал продвигаться вперед.

Он очнулся внезапно, как человек, разбуженный какой-то неведомой причиной среди ночи в момент самого крепкого и сладкого сна, и причиной его пробуждения была сразу наступившая темнота, — как будто кто-то выключил электрический ток, до сих пор накалявший гигантский солнечный фонарь. Настолько стало темно, что на расстоянии двух-трех шагов ничего уже не было видно.

Быстро оглянувшись вокруг, Мамонтов не без тревоги и неприятного замирания сердца заметил, что забрел чрезвычайно далеко вглубь леса, в полосу, совершенно, еще им не обследованную и ему неизвестную.

Достав из кармана компас, ученый точно определил свое местонахождение по отношению к легкомысленно покинутому лагерю и, насколько это позволяли густые заросли лиан, быстро повернувшись, зашагал в обратном направлении.

Долгое время лес не желал редеть, а темнота становилась все более и более непроницаемой.

Наконец Мамонтову показалось, что деревья несколько расступились в сторону, стало значительно светлее и нога перестала так часто спотыкаться о змеевидно выступавшие из-под черной влажной земли уродливые корни тысячелетних великанов.

Не успел Мамонтов подумать, что все его недавние тревоги были напрасны, как вдруг, случайно подняв голову, остановился на месте, как вкопанный, не смея выдохнуть наполнявший грудную клетку воздух, не смея сделать ни одного лишнего движения, мучительно чувствуя учащенные удары сердца.

Но уже в следующую минуту ружье плотно легло к плечу и прищуренный глаз брал быстрый и верный прицел.

В это время, почти над самым ухом Мамонтова, раздался совершенно явственно возглас, необычайно напоминавший человеческое «ах».

Сомнений быть не могло. Звук мог принадлежать одной только человеческой гортани.

Кто был на дереве – Мамонтов не видел.

Он остановился, как вкопанный, и поднял свое ружье только потому, что ясно увидал на дереве чей-то смутный контур, но самого обладателя этого контура, как он ни напрягал своего зрения – увидеть ему не удалось.

Держа ружье все время на прицеле, Мамонтов зашел со стороны, но и с этой позиции ничего в густых листьях дерева не обнаружил.

Сердце билось быстро, скачками, во рту пересохло и в глазах от долгого напряжения мучительно защипало.

Прошла еще одна долгая, бесконечно-длящаяся, томительная минута.

А тишина снова воцарилась кругом, ненарушимая и полная тайны.

«Одновременная галлюцинация и зрения и слуха? – подумал Мамонтов. – Нет! Этого быть не может. Там кто-то сидит на дереве. Но что делать?» – Руки успели настолько затечь, боль в шейных мышцах стала настолько невыносимой, что наступил момент, когда Мамонтов готов был опустить ружье.

Однако он этого не сделал. Внезапно странный возглас-вздых снова повторился, на этот раз гораздо более отчетливо, громче и все так же близко от уха Мамонтова:

– А-а-ах! Уа-а-а!

Крик казался жалобным и тревожным, будто кто-то кому-то изливал свое горе и в нем странным образом сочетались нотки звериного гнева с чисто человеческой тоской и ужасом.

Вдруг сердце Мамонтова забилось тревожно и часто.

Перед Мамонтовым, на расстоянии не больше одного метра, прямо над его головой, искусно скрываваемый красочными листьями дурмана, на крепкой и негнущейся ветке, выросшей почти перпендикулярно к стволу огромного де-

рева, слегка раскачивая и пригибая ее тяжестью своего тела, стоял во весь свой рост не виданный еще никем, описанный только им одним, в предположительных тонах научной гипотезы, великолепный экземпляр второй филогенетической ветки *Homo divinus*'а, – настоящее двуполое человекообразное существо!

Это существо плотно прижалось к стволу дерева, наивно полагая, что таким путем оно станет менее заметным для неизвестного еще ему врага, в действительности находясь почти у самых ног Мамонтова.

Шерсти на этом существе почти не было. Без сомнения, возраст его был еще крайне незначителен, но уже и сейчас были с несомненностью видны его сильно развитые мышцы, но главное, что бросалось в глаза – это была его двуполость.

Мамонтов для верности прицелился еще раз и его глаза совершенно неожиданно встретились с глазами обреченной жертвы.

Во встретившемся ему взгляде была такая непередаваемая красота и глубина, они были так нечеловечески чисты и прекрасны, эти синие глаза ребенка, постепенно заполнявшиеся крупными каплями детских слез, что Мамонтов медленно опустил ружье и провел дрожащей рукой по вспотевшему лбу.

Он стоял не шевелясь, пораженный каким-то столбняком, сквозь который он смутно услышал, как внезапно, совсем рядом с ним, раздался оглушительный треск ломаемых чьей-то исполинской, дьявольски сильной рукой крепких лиан и толстых, загораживающих дорогу, ветвей деревьев. Он увидел, как ближайшие кустарники, с целым фонтаном брызг черной земли, вцепившейся в их глубокие корни, взлетели на воздух, легко вырванные этой разрушающей рукой, и как, наконец, что-то исполински, чудовищно-огромное, покрытое огненно-рыжей шерстью, выросло сбоку от него, ухватило своими неопикуемых размеров лапами прижавшееся к стволу дерева существо и, неся его как пушинку, снова скрылось в темных недрах затрепетавшего и затрепавшего под его ногами леса.

Только тогда Мамонтов поднял голову.

Темнота надвигающейся ночи увеличилась настолько, что, если бы даже кто-нибудь и прятался еще в листьях дурмана, — увидеть его все равно уже было нельзя.

Мамонтов устал. Он внезапно почувствовал какое-то полное безразличие ко всему, что происходило вокруг него, какое-то тупое равнодушие к ускользнувшей из рук его истине, ему хотелось спать и начинала сильно болеть голова.

Наступившая снова тишина душного тропического леса поглотила все его чувства и мысли.

СТРАДАНИЯ МАМОНТОВА

Только тогда, когда совсем поредели чудовищные гиганты леса и их крючковатые лапы не так угрожающе простирались в темноте, а вдали, отражаясь в дробящихся водах ручья, засверкали огни живописно раскинувшегося лагеря, Мамонтов стал понемногу приходить в себя.

Сперва смутно, потом становясь все отчетливее и яснее, вспоминалось все только-что с ним случившееся, и вдруг в его мозгу четко оформилось сознание огромного значения, которое имело не только для него одного, профессора Мамонтова, но и для всего человечества, это приключение.

И одновременно с этим, отчасти как бы подтверждая предыдущую мысль, отчасти как бы иронизируя над ней, предстала вся постигшая его неудача, со всеми роковыми из нее вытекающими последствиями, весь ужас невозвратимости происшествия и нового достижения так близко стоявшей от него и все же в последнюю минуту ускользнувшей истины.

Да. Все было потеряно.

Сердце ныло мучительно и больно, с каждым новым ударом своим причиняя все новые и новые боли и углубляя все сильнее и сильнее предшествующие страдания.

Как оповестить ученых о встретившемся ему человекообразном существе?

Мамонтов невольно замедлил шаги, мучительно ломая себе голову над разрешением этого вопроса.

Конечно, ни единой минуты он не сомневался в том, что рассказу его решительно все, и сторонники и противники его теории, безоговорочно поверят, — слишком велик был научный авторитет его среди них, — но... сейчас же, неминуемо начнутся предположения, опровержения, дискуссии и т. д., и т. д., а если реальных фактов у него не окажется, то волнующий вопрос о происхождении человека — все так же останется неразрешенным и не сдвинутым со своего проклятого места ни на миллиметр.

Ведь, в конце-то концов, ему все могло просто примерещиться в лесных сумерках!

В тот же вечер профессор Мамонтов, собрав всех своих соратников, рассказал им с математической точностью и фотографическими подробностями удивительное происшествие, случившееся с ним.

Когда Мамонтов окончил свой рассказ, наступило общее, полное молчание. Казалось, никто не смел заговорить первым.

Наконец томительная тишина была прервана профессором Валлесом, желчно и злобно начавшим вытряхивать пепел из потухшей трубки.

— Удивительнейший народ эти русские! — воскликнул англичанин, стараясь не глядеть в сторону Мамонтова. — Кем бы они, в конце концов, ни были: учеными, мучениками, босяками или поэтами — все равно, все они начинают с отрицания Бога в человеке, взбудораживают весь мир своими теориями, а кончают всегда, в ту минуту, когда «дело дойдет до дела», извинительным реверансом в сторону этого самого отрицаемого ими Бога! Ибо, если профессор Мамонтов опускает свое ружье перед глазами зверя, то не иначе, как по причине предположения, что зверь этот божественного происхождения. Мне не может показаться не странным это дрожание рук у тех, у кого не дрожали же руки тогда, когда, ради социального опыта, им приходилось сметать

с дороги жизни тысячи себе подобных людей! Прошу еще раз извинить меня. Я очень болен — это знает каждый, — и весьма возможно, что в своем болезненном раздражении и я сказал много лишнего и дерзкого.

Мамонтов поднял голову и спокойно, без всякой тени гнева или раздражения, тихо сказал:

— Мне извинять вас не за что, дорогой коллега. Я прекрасно понимаю вас. На вашем месте я поступил бы точно так же. В одном только вы не правы — я отказался стрелять не в зверя. То не был зверь. И, если хотите, я соглашусь с вами скорее в том месте вашей реплики, где вы говорите, будто я усмотрел в глазах встретившегося мне существа нечто «божественное». Да. Это было божество. Мы только по-разному понимаем значение этого слова. Встретившееся мне существо было потому «божественным», что в нем было слишком мало от человека и слишком много от самой природы. Лучше я не сумею вам этого объяснить.

Настала очередь высказаться Дероне.

Профессор сорбоннского университета нервно рассмеялся и преувеличенно-громко воскликнул:

— Однако, дорогой товарищ, я не могу не сознаться, что с каждым днем все больше и больше обнаруживаю в вашем характере поэтические жилки какого-то еще никому не известного неомодернистического уклона. Поэзия — «*c'est une profession, manquee par vous, je vous assure!*»¹.

Среди собравшихся ученых был только один, хранивший глубокое молчание и исполненный безупречной сдержанности — это был маленький и щуплый человек, профессор Мозель.

Он думал. Тяжело, по-немецки, но результатом его долгого мышления, как всегда, являлась ничем не победимая логика, аргументы, продуманные и проанализированные со всех сторон и концов.

Наконец, профессор Мозель встал и, подойдя к Мамонтову, становясь чуть ли не на цыпочки, ласково положил ему руку на плечо и сказал:

¹ Это, уверяю вас, упущенное вами занятие! (*фр.*).

– Ну-ну. Не теряйте самообладания, дорогой коллега. В жизни случается один раз легко может случиться и вторично. Ничего нет невероятного в том, если я предположу, что вам удастся еще раз повстречаться с этим самым или с подобным этому существом. И тогда вы исправите вашу ошибку. Я вас отлично понимаю. Стрелять было тяжело. А может быть, даже и невозможно. Не печальтесь и не считайте себя грешником перед наукой. Выше голову и... разрешите же, наконец, мне поскорее подойти к радиоаппаратам и оповестить весь мир о... о своем поражении, кажется... Не так ли?

Мамонтов отрицательно покачал головой.

– О, нет! – сказал он с горечью в голосе. – Победителем все еще остаетесь вы. Но клянусь вам всем, чем только может поклясться человек, что, начиная уже с завтрашнего утра и до последних минут нашего пребывания здесь, на Суматре, я всеми своими силами постараюсь снова поймать ускользнувший из моих рук и потонувший во мраке леса ослепительный луч Истины. Теперь я уже наверняка знаю, что он существует, и существует именно там, где я и предполагал его найти. Я не устану искать его до тех самых пор, пока не исправлю своей непростительной вины перед вами всеми.

– И в этих ваших поисках самым преданным, самым верным союзником буду я! – воскликнул все время до сих пор хранивший молчание ван ден Вайден, протягивая Мамонтову руку.

– Very well! – не то иронически, не то сконфуженно процедил сквозь желтые зубы профессор Валлес, засовывая себе градусник под мышку и глядя куда-то в сторону. – Я боюсь только, как бы наша научная работа не приняла несколько нежелательного уклона приключенчества и романтики...

Профессор Валлес замолчал, не закончив своей фразы.

Его глаза в это время встретились со строгим взглядом, шедшим из устремленных на него в упор прищуренных глаз профессора Мозеля.

БЕЗУМНАЯ ДОГАДКА И СТРАШНАЯ НАХОДКА

Прошло еще пять недель в тяжелом однообразии и утомительных работах всех участников научной экспедиции, не принесших миру ничего сенсационного или сколько-нибудь нового.

Однако научный материал был собран в таком огромном количестве, что уже в настоящее время возникала необходимость нескольких лет работы, чтобы как следует разобраться в нем.

Все это время Мамонтов, как и обещал, не переставал ни минуты искать «потерянную истину», как окрестили повстречавшееся ему живое существо иронизирующие над ним ученые.

Но... все его поиски ни к чему не приводили.

Как ни общаривал он, совместно с ван ден Вайденом, окрестные леса, часто забывая самую элементарную предосторожность и героически пренебрегая опасностями, решительно никаких следов человекообразных существ отыскать он не мог.

Даже Мозель одно время принял участие в этих поисках, но повредил себе ногу и с тех пор решил предоставить обоим друзьям совершать свои прогулки самим.

Мамонтов терялся в мучительных догадках, не разрешимых даже знатоком этих мест, старым охотником ван ден Вайденом.

Дело в том, что пропали не только следы таинственного существа, но, чем глубже им удавалось проникать в самую гущу тропических зарослей, тем все реже и реже можно было обнаружить присутствие какого то ни было живого существа – будто кто-то непонятной властью вымел отсюда все живое, объявив весь лес своей собственностью.

Вскоре опасения Мамонтова подтвердились.

Однажды в полдень Мамонтов с ван ден Вайденом набрали в самой чаще леса на внезапно открывшийся перед их глазами довольно значительной вышины лесной холм.

Спиральной лентой вдоль всего склона этого холма, проложенная между почти вплотную друг с другом сросшимися деревьями, извивалась совершенно отчетливо запущенная тропинка, когда-то, видимо, хорошо утрамбованная, а теперь успевшая уже кое-где зарости пышным зубчато-веерным папоротником.

С несомненностью можно было сказать, что по этой тропинке уже многие годы не ступала нога ни зверя, ни человека, но Мамонтов с ван ден Вайденом все же привели свои ружья в боевую готовность перед тем, как решиться начать по ней свой подъем на вершину таинственного холма.

Минуя на своем пути бесспорно рукой человека глубоко вырытые ямы, в которых ван ден Вайден безошибочно определил заброшенные, страшные волчьи ямы лесных жителей, затруднявшие проход к и без того недоступной вершине, обнаруживая то тут, то там хитроумно запрятанные капканы, которые в настоящее время все были уже полуразрушены и приведены в негодность, — Мамонтов с ван ден Вайденом достигли наконец вершины холма.

Когда они вышли из-за последнего ряда деревьев, им представилась замечательная, но жуткая картина.

Вся вершина холма представляла собой небольшое плато, занятое деревней лесных жителей.

Но деревня была пуста. В последний раз это заброшенное логовище первобытных людей видело человека по меньшей мере лет пять-шесть назад. Печальный вид деревни говорил об этом с достаточной точностью.

Центральная площадь деревни, представлявшая собой правильный круг, по окружности которого были построены хижины из хвороста и листьев, связанных друг с другом цепкими лианами, давно заросла могучими всходами сорной травы. Жалкие логовища, некогда укрывавшие в себе живых людей, хотя и диких, но все же не лишенных своих полузвериных эмоций, рождавшихся, живших, любивших, ненавидевших и умиравших, совершенно сгнили и с провалившимися крышами покосились набок. Все было пусто и заброшено.

Обитатели этой деревни покидали свою родину, видимо, весьма поспешно и неожиданно.

На давно потухших угольях стояли грубые глиняные горшки, в которых лежали кости. Видимо, когда пришлось бежать, было обеденное время и в горшках варился обед.

В одной из более сохранившихся хижин, куда, затыкая нос и задыхаясь от вони разложения, царившей в ней, зашли Мамонтов и ван ден Вайден, – было обнаружено брошенное оружие: доисторические каменные топоры и каменные, остро отточенные стрелы.

В другой лачуге Мамонтов отыскал грубое каменное изображение бога, и его радости не было конца, когда он обнаружил, что этот бог, необычайно ясно для такой грубой работы, высечен двуполым.

– Вот видите, – сказал он заинтересовавшемуся его находкой ван ден Вайдену, осторожно и нежно укладывая каменного божка в свой охотничий мешок, – даже эти дикари имеют представление о моем *Homo divinus*'е. Уверяю вас, что эта находка – частичное подтверждение моей теории. Нет дыма без огня. Дикари, несомненно, взяли своего бога из жизни. Они-то ведь все однополы, а фантазия у них развита чрезвычайно слабо.

Однако все было бы хорошо, если бы не отвратительный вид мертвых и прокопченных голов, утыканных на кольях почти перед каждой хижинкой, черных, сморщенных, страшных, но все же довольно точно сохранивших черты своих лиц.

– Тут, может быть, мы отыщем и голову мистера Уоллеса, – начал снова Мамонтов, но вдруг насунился и, резко оборвав, замолчал.

Он вдруг сообразил, почему это ван ден Вайден с таким жадным любопытством вглядывается в каждую мертвую голову, подолгу поворачивая ее во все стороны.

– Пойдемте скорее отсюда, – сказал он, беря ван ден Вайдена под руку.

Они стали спускаться вниз.

– Такую крепость, будь она в руках десяти современных солдат, я думаю, сто тысяч лесных жителей не смогли бы взять, – сказал ван ден Вайден.

– Да, вероятно, – задумчиво и почти не расслышав последней фразы своего приятеля, ответил Мамонтов. – Однако, меня это чересчур начинает, кажется, интересовать: куда это они, все эти дьяволы, делись?

– О, если б я мог ответить вам на тот вопрос! Куда, а главное – зачем? К сожалению, нам остается лишь признать, что их нет. Да не только их – никого больше нет в этих лесах.

Ван ден Вайден был прав.

Действительно, никого уже в этих лесах больше не оставалось.

Он был пуст теперь, – этот таинственный и непроходимый лес, в который раньше нельзя было забраться так далеко, как это сделали Мамонтов и ван ден Вайден, умудрившиеся безнаказанно побывать там, где еще ни разу не ступала нога белого человека.

Он был жутко пуст и молчалив.

Пестрели набухшие влагой листья деревьев, тысячелетия простоявших на одном и том же месте, совершенно скрывавших небеса мощными кронами, с которых, как обезьяньи хвосты, свисали цепкие лапы лиан и корни самой фантастической формы, которые сплошь и рядом смешно вырастали даже из листьев этих причудливых гигантов.

Тяжелые испарения черной жирной земли делали окружающий воздух почти невозможным для дыхания, заставляя мечтать об открытых просторах и свободных пространствах.

Но Мамонтов, казалось, не замечал всего этого и, оставаясь совершенно равнодушным к окружавшей его обстановке, начал проявлять признаки такой необычайной рассеянности и задумчивости, что невольно обратил на себя внимание своего друга и спутника.

Было очевидным, что в нашем ученом произошел с некоторого времени какой-то сложный перелом, заставив-

ший его углубиться в самого себя, перелом, который сам Мамонтов не пытался даже скрыть от окружающих.

По мере приближения назначенного дня отъезда, до наступления которого оставалось всего лишь шесть недель, настроение среди ученых становилось все лучше и лучше, бодрость духа росла, и в этом смысле Мамонтов был значительно разгружен от своей неблагодарной работы главы всей экспедиции.

Наступило время, когда можно было быть больше предоставленным самому себе и не обращаться уже столь бесцеремонно со своей искренностью, как это приходилось делать Мамонтову все это последнее время.

Конечно, не было в том сомнения – Мамонтов чрезмерно переутомился и устал. Но... помимо усталости, что-то новое появилось во всем облике ученого, и все это отлично видели.

Может быть, разочарование? Или зависть?

Марти приобретал все большую и большую известность в Европе, и приходящие от него вести говорили об удивительнейших открытиях его, благодаря которым с каждым днем все богаче и пышнее разворачивался новый мир, таинственно погребенный в меловых отложениях Сиака и Кампара.

В Европе не сомневались, что первая группа экспедиции, под руководством профессора Марти, далеко опередила по полученным результатам вторую, главой которой являлся профессор Мамонтов.

Как передать изумление ученых, внезапно убедившихся в том, что Мамонтов бросил свои поиски и целыми днями не выходит из своей палатки, то валяясь на кровати, то присаживаясь к письменному столу?

Кроме ван ден Вайдена, Мамонтов никого не допускал к себе.

Но старик был при нем почти безотлучно.

Ван ден Вайден шепотом, с холодным удивлением передавал ученым, переставшим понимать что бы то ни было в происходящем с Мамонтовым, что русский профессор, кажется, совершенно отказался от своих поисков и целый

день проводит в самой пустой болтовне, главным образом, с настойчивостью не совсем нормального человека детально расспрашивая об истории исчезновения его дочери, Лириан, о ее характере и внешнем облике и даже о погибшем англичанине мистере Стефене Уоллесе. Его почему-то стали интересовать самые пустяшные эпизоды всего этого дела. Например, он не поскупился потратить два часа времени только для того, чтобы с географической точностью определить место последней стоянки мистера Уоллеса, а также и маршрут, который должен был быть совершен несчастным англичанином.

— Он производит впечатление чересчур переутомившегося человека и ему необходим — это мое глубокое убеждение — продолжительный покой и отдых, — каждый раз заканчивал свой рассказ обступавшим его со всех сторон ученым старый охотник, беспомощно и как бы извиняясь за своего друга, разводя руками и глубоко вздыхая.

Через несколько дней Мамонтов озадачил всех еще больше.

Рано утром он вышел из своей палатки и направился к палатке ван ден Вайдена. Войдя к нему и застав его еще в постели, он, вместо приветствия, задал довольно странный и неожиданный вопрос:

— Скажите, милый друг, — спросил он, — как вам кажется, мистер Уоллес вел какой-нибудь дневник или нет?

Убедившись, что ван ден Вайден ничего по этому поводу не знает, Мамонтов отправился к профессору Валлесу и, застав англичанина за бритьем, тяжело сел на его неубранную еще постель и, глядя, как острое лезвие бритвы с характерным скрежетом скользит вдоль щек бреющегося, снова забывая предварительно поздороваться, задал своему английскому коллеге вопрос, благодаря которому оторопевший Валлес чуть-чуть не порезал подбородок.

— Скажите, дорогой профессор, у англичан принято вести дневники?

Профессор Валлес поправил скользнувшую в руке бритву и, искоса в зеркало глядя на Мамонтова, ответил:

— Oh, yes! Все наши институтки этим занимаются.

– А агенты Скотланд-Ярда?

– Виноват?

– Агенты Скотланд-Ярда, я спрашиваю, ведут ли они дневники?

– Может быть. Если влюблены.

– А если нет?

Профессору Валлесу показалось, что противоречить русскому ученому в настоящую минуту не надо, и потому он, хотя и очень неохотно и сквозь зубы, а все же ответил:

– Я полагаю, что никто им не может запретить заниматься этим идиот... Э... Э... Этим делом, я хотел сказать.

– Это также мое мнение, – как-то криво улыбнулся Мамонтов и задумчиво добавил: – Во всяком случае, человек, не поленившийся высечь на твердой как сталь скале свое имя, только для того, очевидно, чтобы потомство знало, что он побывал в тех местах, несомненно, ради того же потомства, обязательно должен письменно запечатлеть все крупнейшие события своей жизни, иначе – вести дневник.

Профессор Валлес кончил бриться и сосредоточенно мыл в серебряном стаканчике бритвенную кисточку.

– Н-да! – воскликнул про себя профессор Валлес и сделал перед своим лбом какой-то неопределенный жест рукой, шевеля своими длинными пальцами, когда профессор Мамонтов оставил его одного.

Один Мозель, как всегда, впрочем, был не согласен с общим, все более и более укреплявшимся, мнением ученых относительно Мамонтова.

И вдруг – Мамонтов исчез!

Профессор Мозель нашел на письменном столе исчезнувшего ученого письмо, адресованное на его имя, в котором Мамонтов просил простить ему таинственность его поступка, обещая вернуться не позже чем через две недели.

«Впрочем, если это не удастся мне, – оканчивал Мамонтов свое письмо, – то покорнейше прошу не отказать простить меня и в этом случае, так как поступок, совершаемый мной, продиктован мне исключительно одной любовью и преданностью науке. А не вернуться к сроку я могу только по причине моей смерти. Все остающиеся после

меня бумаги прошу, в случае моей гибели, передать Академии наук в Ленинграде». Далее следовали приветствия и подпись.

* * *

Мамонтов, снова пробравшийся к Буйволовой расселине и стремительно направившийся к западу от нее, следовал приблизительному маршруту мистера Уоллеса, какой, по предположению ван ден Вайдена, должен был быть выбран англичанином.

Да. Десять лет тому назад шел по этому самому пути этот странный английский сыщик, почему-то начавший свои поиски именно с этих мест.

Но если Уоллесу было трудно продвигаться вперед вследствие того, что лес кишмя кишел дикими зверями и страшными лесными жителями, то Мамонтову теперь, когда все обитатели этого леса куда-то таинственно исчезли – не составляло почти никакого труда прокладывать себе дорогу в дремучих зарослях.

Правда, очень часто приходилось действовать топором и пилой, а один раз даже взорвать динамитом совершенно непроходимую стену вросших друг в друга деревьев и кустарников, карабкаться на деревья, изранить себя, рвать одежду, – но все это было такими пустяками по сравнению с тем, что пришлось, вероятно, некогда пережить мистеру Уоллесу!

Наконец, к концу третьих суток, питаясь захваченными с собой консервами, ночуя в огромных дуплах тысячелетних гигантов, измученный, усталый, окровавленный и грязный, Мамонтов вышел на довольно широкую лесную поляну, на которой росли сочные ягоды земляники, в совершенно сухой и ароматной траве, колеблемой казавшимся после лесной духоты свежим и чистым ветерком. По краю полянки протекал быстрый и пенящийся ручей, и первым делом Мамонтова было жадно прильнуть запекшимися

губами к чистым и светлым струям воды. С наслаждением втягивал Мамонтов в себя почти холодную освежающую воду, стараясь погрузить в нее как можно глубже свое воспаленное лицо.

Так он стоял на коленях, не будучи в силах оторваться от божественной влаги.

Воды ручья были настолько светлы и чисты, что дно было видно совершенно ясно и отчетливо со всеми многочисленными камешками, выстилающими его, и разнообразными раковинами.

Удивительной формы камешек привлек внимание Мамонтова. Засучив рукава, он энергично погрузил свои руки по локоть в холодные воды ручья. Но вместо камешка, совершенно неожиданно, пальцы Мамонтова коснулись края какого-то острого предмета. Отрывая толстый слой желтого песка, он извлек со дна блестящий алюминиевый плоский ящик величиной в небольшую тетрадь, на котором стояла выгравированная надпись, буквы которой он успел уже разобрать под волнообразной струей... на ней было написано:

«Дневник Стефана Уоллеса».

Ровно через десять дней после своего исчезновения Мамонтов снова появился в покинутом им лагере, казавшемся уже не случайной стоянкой, а родным домом.

Душевное равновесие ученого перед уходом было настолько неопределенным и пошатнувшимся, что все участники экспедиции за время его отсутствия единогласно постановили встретить беглеца, если он только вернется, как ни в чем не бывало, будто отсутствия его даже и не заметил никто, не докучая ему любопытными вопросами, взглядами, а тем более насмешками или иронией.

ДНЕВНИК МИСТЕРА УОЛЛЕСА ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА ДВАДЦАТИЛЕТНЮЮ ТАЙНУ

Тело Мамонтова болело и ныло, но он даже сапог не снял с горящих и натертых ног, — он тотчас же, едва успев войти к себе в палатку, тяжело уселся за письменный стол и нервно придвинул поближе к себе походную лампу.

Специальные щипцы для вскрытия консервов легко обрезают края алюминиевого ящика, и на стол вывалилась довольно толстая записная книжка, размерами немного меньше обыкновенной тетради, мелко исписанная четким, холодно-разборчивым почерком делового человека.

За полотняной стенкой палатки мерно прохаживался часовой, выставленный для охраны лагеря от нападения диких зверей, изредка нарушавший затушенное молчание ночи быстрыми и редкими ударами в гонг, отпугивающими хищного адьяга, иногда чересчур близко подкрадывавшегося к лагерю, привлеченного светом горящих всю ночь вокруг стоянки экспедиции костров.

Книжка прекрасно сохранилась. Ни одна строка не стерлась, не побледнела ни одна страничка.

На самой первой странице, наверху, в качестве заглавия стояла фраза, выведенная довольно замысловатыми буквами:

«Дневник Стефана Уоллеса»,

под ней следовала черта, а несколько ниже была наклеена вырезка из лондонской газеты «Times» за № 402.844, от четвертого октября 1905 года.

402.844.

МАЛАККА 4. X. 1905 г. (Собств. корр.) Сюда доставлены капитаном португальского китобойного судна «Донна Клара», мистером Альфредом Путани, сведения об ужасной катастрофе, разыгравшейся на острове Суматра, в зоне гол-

ландских владений, участниками которой явились известный голландский миллионер Ян ван ден Вайден и молодая восемнадцатилетняя дочь его – леди Лилиан ван ден Вайден. Мы не обладаем еще всеми подробностями этого кошмарного случая и пока он нам рисуется в следующем виде:

В конце прошлого месяца сэр ван ден Вайден, с дочерью и группой сопровождавших его туземцев, заблудился при переходе лесистых отрогов Пазамана (гора Офир) и Малинтанга, находящихся, по отношению к знаменитой огнедыщащей горе Долок Симанабели, значительно западнее и ближе к центру острова. Вскоре все они попали к диким племенам лесных жителей, причем, как значится в протоколе голландского чиновника, выезжавшего на место происшествия, все туземцы оказались убитыми; искаженные предсмертной судорогой лица их свидетельствовали, что они убиты отравленными стрелами сарабакана – оружием лесных жителей, имеющим вид трубки, из которой ртом выдувается маленькая отравленная стрела, летящая на значительное расстояние. Леди Лилиан куда-то бесследно исчезла, словно провалившись сквозь землю, почти на глазах обезумевшего от ужаса отца, каким-то чудом оставшегося в живых. Несчастный джентльмен получил лишь сильный удар в голову, как сам показал на следствии и, спустя двое суток полного беспомыслительного, почти совершенно лишенный сознания, был благополучно вынесен лошадью из дебрей непроходимого леса к берегам реки Мазанг.

Предпринятые голландским правительством поиски ни к чему не привели, и леди Лилиан найдена не была. Труп ее лошади обнаружен неподалеку от места катастрофы. Все убитые туземцы оказались, по опознанию их трупов, опытными проводниками из местностей, окружающих форт Кок. Считаю своим долгом здесь же поместить объяв-

ление несчастного отца, готового на любые жертвы ради отыскания своей единственной дочери:

20.000.000

золотых гульденов тому, кто найдет леди Лилиан ван ден Вайден.

10.000.000

золотых гульденов тому; кто хотя бы укажет место ее пребывания или найдет ее труп.

Деньги – телеграфным распоряжением – уже переведены на особый счет в Королевский Амстердамский банк, за № А 42/882.

Все справки, могущие хоть немного пролить свет на это дело, бесплатно выдаются в канцелярии его высокопревосходительства господина генерал-губернатора нидерландских колоний, в г. Батавии, в течение всего дня, дежурным чиновником.

Горячо надеемся, что энергичные поиски пропавшей девушки, которые должны будут неминуемо последовать вслед за этим объявлением, вернут убитому горем отцу его единственную дочь.

[Наискось по всей странице стояла пометка мистера Уоллеса, сделанная красным карандашом:

«Два дня пробыть в бессознательном состоянии в седле – невозможно. Ст. У.».

Со второй страницы начиналось как бы своего рода предисловие ко всему дневнику. Даже слово «предисловие» было написано мистером Уоллесом, но потом тщательно зачеркнуто].

«Объясняю, — значилось в этом предисловии, — здесь, почему на первой странице мной наклеена газетная вырезка: желая вести свой дневник, касающийся исключительно одного только дела исчезновения леди Лилиан ван ден Вайден, в строго хронологическом порядке и последовательности, я неминуемо должен был начать с вышеприведенной вырезки, потому что именно она была той заглавной буквой, с которой должен был начинаться мой рассказ. Ведь до нее мне ничего не было известно об этом деле, а кроме того, из факта ее помещения на первой странице дневника, вместе со сделанным мной по ее полю примечанием, я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что, лишь только стало в Лондоне известно о таинственном исчезновении леди ван ден Вайден, я тогда уже сразу заинтересовался им и даже успел составить себе о нем строго определенное мнение. Мнение это было не лишено уголовных предположений. Такова моя система: если хоть что-нибудь из сообщаемого о том или ином деле противоречит самым элементарным понятиям о правде, — то я уже готов биться об заклад, что дело не чисто. В данном же случае, первое, что возмутило меня, — было невероятное сообщение о ван ден Вайдене, спасенном чудесным, но весьма сомнительным образом. Для нас, сыщиков, нужен только толчок, чтобы начать дело. Это сообщение и явилось в этом деле лично для меня таким толчком. Я принялся за изучение подробностей и мелочей, в нашем деле всегда более важных, чем события крупного характера.

Из дальнейших собранных мной газетных сообщений, вырезки которых я, к сожалению, не могу здесь поместить, так как все они сгорели в прошлом году во время знаменитого пожара архивного отдела Скотланд-Ярда, я представлял себе всю картину еще крайне разрозненной и неопределенной, но уже приблизительно в следующем виде

(не могу скрыть, что несколько раз в течение этого времени я сносился с Малаккой и Батавией по телеграфу):

1. Лилиан ван ден Вайден решительно ни с кем не встречалась, за одним только исключением: с ней разговаривал местный священник, некий пастор Берман.

2. Этот пастор Берман, неоднократно опрошенный голландскими властями, если только в этих показаниях разобраться как следует, весьма часто противоречит сам себе. У меня есть копии с двух таких показаний.

3. Пастор Берман — в половом отношении, несомненно, больной человек; я запрашивал о нем амстердамскую духовную академию, студентом которой пастор Берман состоял, однако канцелярия академии отказалась дать мне какие бы то ни было сведения, оправдываясь соображениями этического характера, но указала мне на настоятеля лондонской голландской посольской церкви, епископа Зюдерзанга, как на бывшего профессора пастора Бермана, знающего, вероятно, очень хорошо своего бывшего ученика. Епископ, к которому я не преминул тотчас же и обратиться, под большим секретом и то только как официально представителю английского уголовного сыска, сообщил мне эти сведения о своем воспитаннике. У него, между прочим, до сих пор сохранилась диссертация Бермана на тему о вожделениях нашего тела и некоторой относительной пользе онанизма, как могучего средства борьбы с дьяволом. «Большей путаницы, искажения человеческой природы и противоестественности в области половой психики — мне никогда еще не приходилось читать», — сказал мне откровенно епископ на прощание, прося хранить в тайне все полученные мною от него сведения.

4. Туземцы не были убиты стрелами лесных жителей. Я перерыл все личные записки моего дяди, знаменитого исследователя Малайского архипелага, мистера Дж. Уоллеса, из которых убедился, что лесной житель скорее умрет сам, чем позволит себе не отрезать голову у трупа.

5. Почему и кем были наняты проводники для сэра ван ден Вайдена с форта Кок, лежащего совершенно в стороне

от его маршрута – крайне загадочно.

6. Пастор Берман показывает каждый раз, что отец и дочь ван ден Вайден покинули Hotel d'Amsterdam, в котором они все трое останавливались в г. Паданго, в день его отъезда. Это тоже неверно. Ван ден Вайдены пробыли в гостинице, после отъезда пастора, еще шесть дней.

7. Хотя это и рассказывает сам ван ден Вайден, но и это неверно: никакого удара в голову он не получал. Я случайно нашел у своего дяди описание действия местного яда «гу-гу-а», маленькие дозы которого, сохраняя в человеке все его физические силы, угнетают настолько нервную систему, что человек совершенно лишается памяти, причем в момент наступления действия яда получается впечатление удара в голову (потому-то и самый яд называется «гу-гу-а», что значит «сильный удар»),

8. Мое предположение на основании деятельного изучения всех вышеприведенных данных: сэр ван ден Вайден был отравлен гу-гу-а, пробыл в плену у лесных жителей (очевидно, вместе со своей дочерью), а затем отпущен на волю, т. е. посажен на лошадь и выведен из леса к реке Мазанг. Лилиан же ван ден Вайден осталась в плену.

9. Нет сомнения в том, что кто-то был заинтересован похищением ван ден Вайденов (вернее, как оказалось в конечном результате, леди Лилиан). Но кто и почему – это пока загадка. Я имею лишь сведения о том, что пастор Берман, следуя к себе домой через Менанкабуа на озеро Тоб из Паданга, поехал не по кратчайшему пути через Буйволоу расселину, а сделал огромный крюк и посетил форт Кок (зачем?).

Далее мне известно, что проводников своих ван ден Вайден нанял у Буйволоу расселины, хотя все они, как показало следствие, были из местностей, окружающих форт Кок! И, наконец, совершенно непонятным для меня представляются два следующих момента всего этого дела: первое – как это проводники согласились идти с лошадьми в лес, зная, что путь почти непроходим даже для человека? Не знали ли они чего-нибудь заранее? Второе, несколько подкрепляющее первое предположение: почему лесные жи-

тели удовлетворились только девушкой? Голова мужчины ценится у них гораздо дороже. Нельзя ли отсюда, в свою очередь, предположить, что головы леди Лириан им не надо было, а между ними и кем-то еще был действительно заключен какой-то таинственный договор, заключена какая-то непонятная сделка?

Итак, вот все добытые мною данные по делу ван ден Вайдена, абсолютно ни о чем реальном не говорящие. Единственно, чем они дороги: во-первых, они безусловно являются теми путеводными огоньками, которые в дальнейшем сумеют уже показать правильный путь, и, во-вторых, — из этих данных легко можно сделать заключение, что священническая сутана не всегда лишена жирных пятен.

Увы! Быстрое повышение мое по службе, сопряженное с колоссальным количеством работы и ответственности, заставило меня на время совершенно забыть обо всей этой истории.

Я, каюсь, может быть и не вспомнил бы о ней никогда больше, если б не случай, снова толкнувший меня к ней спустя ровно девять лет после ее возникновения».

[С этого места тетради, подведенного двумя чертами, собственно говоря, и начинается сам дневник мистера Уоллеса].

«Лондон. 12. XII. 1913 г. Сегодня утром, как только я вошел в свой кабинет, ко мне явился с докладом мой помощник, мистер Ситти, и доложил, что уже с шести часов утра меня дожидается в приемной неизвестный человек в матросской форме, категорически отказавшийся назвать себя и сообщить ему, мистеру Ситти, о цели своего посещения. Он настаивал на личном свидании со мной.

Усевшись за письменный стол и тщательно проверив спуск своего револьвера, я велел привести незнакомца к себе.

Через некоторое время ко мне в кабинет ввалился огромный детина, судя по лицу, лет тридцати-тридцати двух,

совершенно черный от загара, густо обросший давно не стриженными рыжими волосами и бородой, насквозь пропитанный крепким запахом дегтя, моря, табака и дешевого джина.

В нем нетрудно было опознать старого морского волка, только что вернувшегося из дальнего плавания по южным морям.

— Мистер Стефен Уоллес, если надо мною никто не потешается? — резким сильным голосом, не выказывая никаких признаков застенчивости, спросил мой посетитель.

— В Скотланд-Ярде шутят только за рождественским пундингом, — сказал я. — Какое дело вы имеете ко мне?

Отвечая своему гостю, я в то же время пристально исподлобья разглядывал его, стараясь составить себе характеристику этого не совсем обычного посетителя.

Некоторое время длилось молчание, так как моряк, видимо, не желал сразу отвечать на мой вопрос.

Это молчание стало бы довольно тягостным, если бы не наскучило рыжей громадине.

Без всякого приглашения с моей стороны он спокойно уселся в кресло, стоявшее у моего письменного стола, и совершенно просто, как будто именно на эту тему мы беседовали с ним и раньше, сказал:

— Десять лет тому назад, сэр, на острове Суматра таинственно исчезла дочь одного голландского дурака, кошель которого набит червонцами, как старый труп червями. Барышню звали Лилиан ван ден Вайден, и мне доподлинно известно, что вы некогда интересовались этим дельцем.

Я писал уже в начале своего дневника, что целых десять лет не думал совершенно об этой истории, но не успел мой посетитель окончить свою фразу, как я сразу... вспомнил все, что знал о ней, до мельчайших подробностей.

— С кем, однако, имею я честь разговаривать? — совершенно спокойно и бесстрастно спросил я, стараясь не выдать своему собеседнику охватившее меня с ног до головы волнение.

Судя по игривым огонькам в его хитро прищуренных глазах, мне показалось, что старание мое казаться равнодушным особенным успехом не увенчалось.

— С кем вы имеете честь разговаривать? — весело переспросил моряк. — О, это так мало интересно для всего этого дела, что боюсь, — мой ответ отнимет у вас только понапрасну время. Однако, извольте. Ничего тайного нет в том, что меня зовут Джеком Петерсеном. Я, если угодно знать, американец по происхождению, а социальное положение мое — старший шкипер парусного судна «Генерал Вашингтон», крейсирующего с лесом и продовольственными грузами из Сан-Франциско на Суматру, Борнео и прочие острова южного моря и обратно. Да, сэр. Джек Петерсен — мое имя, и это обстоятельство значится в корабельном журнале черным по белому. Я полагаю — дальнейшие сведения из моей биографии вас не заинтересуют, сэр?

— Что можете вы сообщить мне по делу ван ден Вайденов и откуда вам известна моя заинтересованность этим делом? — спросил я.

— Виноват, сэр, — сказал Джек Петерсен. — Я прежде всего — американец. На ваши вопросы я могу ответить лишь с неизменным условием, что вы не откажете заключить со мной известный договор, некоторую денежную сделку, так сказать. Дело — есть всегда дело. Не так ли?

— Сумма? — спросил я.

— О, сущие пустяки! — отвечал американец. — Десять миллионов гульденов.

Я понял его. Он имел в виду дележ обещанной ван ден Вайденом награды.

— Разумеется, в том случае только, если дело будет выиграно мной? — спросил я.

— Само собой. Однако сейчас вы дадите мне аванс в размере ста фунтов стерлингов. Вы не можете ведь не согласиться, сэр, с тем обстоятельством, что дельце это залежалое, с тухлецей, так сказать.

— Тем более, милейший мистер Петерсен, я вам этого аванса не дам, — сказал я спокойно.

– Ваше дело, сэр, – еще спокойнее произнес американец, встал и, направляясь к дверям, сказал: – У нас в Америке такими деньгами и не считаются даже!

– Пойдите, мистер Петерсен! – Энергичное, открытое и честное лицо шкипера заставило меня колебаться лишь одно мгновение. – Хотя довольно странно покупать товар, не выдав его предварительно, но... на этот раз – я согласен.

Мистер Петерсен вернулся к письменному столу, снова уселся в кресло и достал из бокового кармана своих брюк помятую записную книжку, которую доверчиво и протянул мне через стол.

– Вот он самый товар, мистер Уоллес, – добродушно сказал он. – Не судите по внешнему виду. Возьмите его себе и, не потому, чтобы я не доверял вам, а потому, что к вечеру «Генерал Вашингтон» должен сняться с якоря, вынужден просить вас, доверяя мне на слово, еще до знакомства с содержанием этой книжечки, не отказать тотчас же заключить со мной обещанный договор и...

Я кивнул головой в знак того, что понял его, достал чековую книжку, написал мистеру Петерсену чек на сто фунтов стерлингов и только тогда спрятал его «товар» в один из ящичков своего письменного стола.

Затем я велел написать официальный договор, по которому половина денежной награды, обещанной ван ден Вайденом, поступала в его полное распоряжение в случае удачи, договор вручил мистеру Петерсену, а заверенную копию с него оставил у себя.

Этот огромный человек внушил мне непоколебимое доверие к себе, и я инстинктивно чувствовал, что данная им мне записная книжечка стоила и ста фунтов стерлингов и заключенного договора.

Меня мучил только вопрос – каким образом мистер Петерсен мог узнать, что я заинтересован исчезновением леди Лилиан ван ден Вайден и каким образом попала в его руки оставленная мне книжка, содержание которой я также не мог себе представить. И кому принадлежала она раньше?

Все эти вопросы я и не преминул задать своему неожиданному компаньону, когда наше товарищество было закреплено на бумаге официальным образом.

Мистер Петерсен располагал еще некоторым количеством времени и охотно ответил на интересующие меня вопросы.

— Книжка эта, мистер Уоллес, — сказал он мне, — дневник. Самый обыкновенный дневник, как ты ни старайся придумать ей другое название. Однако, содержание этого дневника далеко не обыкновенное. В этом вы убедитесь вскоре сами. Уже то обстоятельство, что дневник этот принадлежит лицу духовного звания, делает его, если можно так выразиться, пикантным, что ли. Ведь не всякий же поведет дневники, на самом деле! Фамилия пастора, который пожелал увековечить свои переживания на бумаге, здесь записана. Это некий пастор Берман.

Я чуть не вскочил с места.

— О!.. — невольно вырвалось у меня. — Very well! Однако, как мог попасть такой документ вам в руки?

— Я украл его, — спокойно ответил американец.

— Украли?

— Ну, если это вас так шокирует, то не украл, а присвоил. Сделал, одним словом, так, что он стал принадлежать мне.

— И каким же образом?

— Самым обыкновенным. Мы стали на якорь на Мозри у Палембанга. Я, мистер Уоллес, шкипер, а к тому же мужчина. Восемь месяцев я был без женщины, сэр. В Палембанге есть прекраснейшие заведения, мистер Уоллес. Все, что вашей душе угодно. В одном из таких домов встретился я с пастором.

— Встреча с пастором... в таком... в таком месте... учреждении, одним словом! Вы уверены в том, что говорите? — слабо запротестовал я.

Американец расхохотался во все горло.

— А! Теперь я понимаю! — воскликнул он. — Так вот что вас смущает! Ну, должен вам доложить, дорогой сэр, что у этих господ под их сутаной любая девка найдет все то, что она отыщет и у нас с вами! Вот уже, доложу вам, если это

вам интересно, за это я их, господ этих слуг божьих, нисколько не осуждаю. Когда они говорят свои воскресные проповеди – вот это уже куда хуже, уверяю вас!

Однако, разрешите мне кончить. Не успел я спяна облапать как следует жирную массу этого проповедника, как он, с места в карьер, оттолкнув меня, начал мне читать вот такую самую панихиду. И чего он только тут не наплел. Ну, я сперва послушал его маленечко, хотя, признаюсь, ровно ничего не понял из того, что он болтал. Потом я расхохотался и с омерзением сплюнул в сторону. Ну, а потом – не скрою этого от вас, – я не стерпел и залепил ему такую затрещину, от которой грот-мачта заколебалась бы. Короче говоря, он полетел на пол и, падая, выронил из кармана свою записную книжечку. Он этого не заметил. В конце концов, сэр, он сам виноват, что эта книжка оказалась у меня.

На другой же день я смекнул, что ни отдавать ему ее, ни выбрасывать – нет никакого расчета, и довольно забавно будет заглянуть в ее нутро. Любопытно, как-никак, узнать, о чем может писать вот такой господин в сутане. Не правда ли, сэр? Вот и все. Когда же я поближе познакомился с этим манускриптом, я... ну, сэр, тут уж вы сами поймете, когда прочтете этот почтенный труд, – почему я обратился с ним к представителю уголовного сыска.

– Но почему именно ко мне?

– Я не совсем дурак, сэр. Я навел в полицейском управлении Палембанга справки, и узнал, что этим делом некогда были заинтересованы вы.

– Еще один вопрос, мистер Петерсен. Почему вы сами не взялись за это дело?

– Сэр! – полуторжественно, полувозмущенно воскликнул мистер Петерсен. – Случалось ли вам когда-нибудь видеть вытащенную из воды рыбу? А? Уверяю вас, сэр, я чувствовал бы себя на суше несколько не лучше ее! Я слезаю на сушу только для того, чтобы жениться. Но долее двух-трех дней семейной жизни – это не в моем характере, сэр. Я просто не могу! У меня начинаются судороги в мышцах всего тела, меня начинают охватывать спазмы в животе, язык мой высыхает, и вообще, сэр, я начинаю чувствовать

себя не в своей тарелке. Я заболеваю, сэр. Я задохся бы в этом проклятом лесу, где путешествовали эти сумасшедшие люди, не знающие, какую дыру им заткнуть своими шальными деньгами, не успев прочесть «Отче наш», благо я его-то всегда не совсем твердо помнил. Уж извините, сэр! Вам и карты в руки, а десять миллионов гульденов совершенно обеспечат мою старость, если к тому времени я не буду съеден акулами. Вы разрешите мне, сэр, откланяться? «Генерал Вашингтон» сейчас снимется с якоря, а я старший шкипер судна, сэр.

С этими словами мистер Петерсен протянул мне свою узловатую лапищу, густо обросшую рыжей шерстью, которую я еле обхватил своими пальцами и пожал как мог крепче. Задерживать мистера Петерсена дольше я считал себя не в праве и с сожалением глядел на его удаляющуюся спину, обладатель которой, выйдя из моего кабинета, долго искал в передней выхода, ругаясь вполголоса с таким чувством и смаком, с каким могут ругаться только истые и неисправимые морские волки.

Что предпринял я после ухода мистера Петерсена?

Ясно! Я заперся в своем кабинете, строго наказав не беспокоить меня, уселся за письменный стол и, достав записную книжечку пастора Бермана, углубился в чтение, всем своим существом уйдя в это занятие.

ДНЕВНИК ПАСТОРА БЕРМАНА, ПЕРЕПИСАННЫЙ МНОЮ ПОЛНОСТЬЮ И ДОСЛОВНО В МОЙ НАСТОЯЩИЙ ДНЕВНИК

«Менанкабуа, 8. VIII. 1905. Никогда раньше не вел я дневника. Обладая, как миссионер, ораторским талантом, полагаю, я легко справился бы с задачей изложения своих мыслей и переживаний на бумаге, но я всегда был того мнения, что ведение дневника – пустое, суетное и тщеславное занятие, недостойное человека серьезного, а в особенности человека, облаченного в священнические одеж-

ды, человека духовного звания, каковым я, автор этих строк, пастор Берман, и являюсь.

Не привожу своей биографии. Я пишу этот дневник не с целью осведомить человечество о своей особе, — я обуреваем совершенно другими волнениями, исключительно личного характера. Этим я хочу сказать, что дневник свой я не только пишу для себя (все авторы дневников оправдывают свой пустой труд этим положением), я пишу его, отлично сознавая, что если кто-нибудь заглянет в него, то я — погиб, иначе говоря, я пишу свой дневник только не для других (это уже отличает меня от обыкновенных дневниководов). Короче и ближе к делу. Я горю, я сгораю, я обуреваем одним единственным только желанием — занести поскорее на бумагу все то волнующе-прекрасное, что мною пережито за вчерашний день. Только за вчерашний день. Этим и ограничивается вся моя задача. Что же заставляет меня это делать? Ах! Отвечая на этот вопрос, можно понять (чего я раньше никак не понимал), чем руководятся люди, пишущие дневники!

Какая-то неведомая мне сила заставляет меня занести на бумагу пережитые минуты моей жизни (и как можно скорее, пока воспоминание об этих минутах еще светло в моей памяти) для того, чтобы в дальнейшем иметь постоянную возможность вновь переживать эти минуты, перечитывая написанные здесь строки! Память наша слаба и пережитая картина быстро блекнет в нашем сознании. Как бы мы ни любили человека, если мы долго не видим его, — черты его лица начинают расплываться в нашем мысленном зоре, забывается какая-нибудь ничтожнейшая черточка, родимое пятнышко, что ли, и увы! — этого уже достаточно для того, чтобы портрет был неполным. В этом деле нам на помощь приходит фотография. Вот вам и ответ. Эти строки — фотография. Фотография не действия, а переживания. Посмотришь на фотографию и сразу вспомнишь милое лицо. Прочтешь такие вот строки — и сразу вспомнишь лучшие минуты своей жизни. Господи, помоги мне запечатлеть на светочувствительной пластинке этого дневника все событие полностью в таком виде, в каком я пережил

его вчера. Не дай мне забыть ни единого штришка из пережитого – ведь событие произошло уже сутки тому назад и я боюсь, что оно будет описано не так ярко и подробно, как оно было на самом деле. А это так важно для меня! Так важно...

Какое счастье будет потом, перечитывая эти строки, вновь и вновь переживать всю остроту и неувядаемую прелесть его!

Я начинаю. До вчерашнего дня я не знал женщины. Я дал клятву своему Господу воздерживаться от помыслов грязных и греховных и удовлетворял свои мужские потребности иным путем.

Я... я и сейчас не познал еще женщины, но... но зато я познал всю силу страстного желания обладать ею. О... как непростительно глуп был я раньше! Ведь молодость-то моя почти что ушла уже! И женщина – как она прекрасна! И только вчера я прозрел, я узнал это!

О, господи, опять дрожит моя рука с такой силой, что писать трудно.

В ушах звенит напряжение дьявольской силы – силы самой необузданной ненасытной страсти.

Вчера, 7 августа, утром, еще находясь в Паданге, в гостинице d'Amsterdam, где я остановился проездом в Менанкабуа, куда меня вызвали по делам моего прихода, я и не подозревал о том, что со мной случится вечером того же дня...

Было 10 часов вечера и я собирался лечь спать, когда в мой номер постучали. Дверь открылась и в комнату вошел высокий, стройный мужчина, лет пятидесяти, судя по виду, никак не больше, хотя его совершенно седые волосы и старили его в значительной степени.

Седой джентльмен плотно закрыл за собой дверь и, спросив предварительно моего разрешения, уселся в одно из кресел моей комнаты. Достав сигару и предложив мне, он до того, как закурить, еще успел мне отрекомендоваться.

– Я очень извиняюсь, милейший пастор, за вторжение к вам в столь поздний час, – сказал он. – Однако, обстоятельства порой сильнее нас, наших привычек и элементар-

ных правил приличия и вежливости. Зовут меня Яном ван ден Вайденом, я ваш соотечественник.

Пока он закуривал сигару, я пристально разглядывал его не без некоторого интереса. Фамилия ван ден Вайден очень известна в Голландии, и я, еще будучи студентом амстердамской духовной академии, много слышал об этом человеке, как об обладателе несметного состояния. Мне казалось крайне любопытным, что познакомился я с ним далеко от нашей родины, при несколько странных обстоятельствах, к тому же я был обуреваем любопытством, что именно заставило этого человека зайти ко мне.

Он, очевидно, понял мои мысли и начал с места в карьер излагать побудившие его причины познакомиться со мной.

— Я, сударь, — сказал ван ден Вайден, окутанный замечательно ароматным дымом дорогой сигары, — пришел к вам по не совсем обыкновенному делу. Должен вам доложить, что я в Паданге лишь проездом, я путешествую по Суматре со своей 18-летней дочерью, Лилиан. По поводу, или вернее — по поручению последней я и осмелился побеспокоить вас.

Далее последовал рассказ, который я не могу иначе назвать, как исповедью потерявшего надежду и заблудшего человека перед самим господом богом.

Ян ван ден Вайден поведал мне нечто ужасное и необычайное. Из его рассказа я узнал, что дочь его одержима бесом. Он чистосердечно признался мне, что дочь его, как вавилонская блудница, не знает границ своей необузданности в делах плотской страсти, что все ее помыслы полны дьяволом и сатаной. Сила страсти, горевшая в несчастной, по словам самого отца ее, была настолько велика, что самые сдержанные люди, при одном только общении с ней, теряли власть над собой и готовы были, ради одной только возможности коснуться ее тела, на любые преступления. Вот буквально те слова, которые я услышал от несчастного отца, крайне резкого и грубого в разговоре, не стесняющегося в выражениях, что можно судить по нижеприводимой фразе (очевидно, горе сделало его таковым):

— Она заражает всех своей похотливостью, — сказал старик. — Как чума передается от нее зараза на всех окружающих. Стоит с ней побыть кому-нибудь некоторое время, как, будь это самый порядочный джентльмен, он становится на задние ноги. Я в полном отчаянии. Сила самой природы или сама материя, из которой построены клетки ее тела, заряжены небывало мощным зарядом какой-то плотской энергии, бьющей через край. Но сама, сама она — очень скромная девушка, уверяю вас. Однако, простите, я не могу объяснить вам всего, — языком тут ничего не сделаешь. Словами этого не передашь!

Я сидел, изумленный и ошеломленный исповедью старика. Мне представился страшным этот неиссякаемый родник естества природы, — мне, ярому противнику ее — и я не знал, что ответить.

После довольно продолжительной паузы ван ден Вайден заговорил опять.

Он заговорил о том, как любит бесконечно свою дочь и как хочет помочь ей и, наконец, после долгих и напрасных предисловий, сказал мне, что дочь его поручила ему пойти ко мне и просить меня посетить ее. Он совершенно не знал, что ей от меня нужно было, но видно было по всему, что несчастный отец не мог не исполнить этой ничем не обоснованной просьбы своей дочери, так как был рабом ее капризов, которые исполнял все беспрекословно и безропотно.

О... я не скрою ни от кого, какой-то безотчетный страх заполз ко мне в душу.

Я не знал, что сказать, что ответить...

Я только чувствовал, как по телу моему ползет целый легион мурашек, нахлынувших только что с северного полюса.

Неужели одно только упоминание об этой особе способно было наэлектризовать мужчину, или это смутное предчувствие чего-то катастрофически на меня надвигающегося медленно, но настойчиво вползало в мою душу?

Ван ден Вайден, видимо, заметил мое смущение и истолковал его по-своему.

— О, нет, милейший пастор, — сказал он. — С этой стороны вам не грозит ни малейшей опасности. Ни одному мужчине еще моя дочь не дала права прикоснуться к ней. Я не знаю, чего именно желает моя дочь от вас, но, зная ее удивительный характер, я не удивлюсь, если она вызывает вас для молитвы! С ней все может случиться!

С этими словами ван ден Вайден достал из кармана пятидесятирублевый билет и положил его мне на стол.

Я отстранил деньги от себя и сказал:

— Мой долг пастыря повелевает мне идти к вашей дочери. Я не вижу оснований для такого, ничем не оправданного вознаграждения.

Ван ден Вайден встал с кресла, денег обратно не взял и оставил мою фразу без ответа.

Вместе с ним я вышел из своего номера.

В полутемном коридоре гостиницы мы расстались.

Он прошел к себе, а я... вот этого я уже не помню, как, но я... я очутился в номере его дочери!

Тут... О, как я боюсь, что у меня не хватит сил описать все то, что было со мною в этот вечер!

Прямо передо мной, на ослепительно белых кружевах роскошно убранной постели, лежала... нет, — лежал сам Эрос в образе женщины, совершенной нагой, прикрытой лишь легкой тканью, чем-то вроде вуали голубого цвета...

От голубой вуали шел еле уловимый аромат — такой пряный и ядовитый, что у меня разом затуманилось в голове и какие-то металлические молоточки звонко застучали в висках.

Я чуть не потерял сознание.

Когда я очнулся от первого потрясения, то оказалось, что я... что я сижу уже в кресле рядом с лежащей на постели женщиной.

Лириан ван ден Вайден высвободила свою руку из-под вуали.

Я молчал. Меня трясла лихорадка и мне казалось мгновениями, что я давно-давно уже умер и не существую больше.

— Да очнитесь же вы наконец, сумасшедший!

Эта фраза, произнесенная с заглушенным смехом молодой девушкой, была мной услышана как бы издалека, пропущенной сквозь толстый слой ваты.

— Вы смущены моей наготой, что ли? — продолжала Лилиан ван ден Вайден насмешливо. — Но я ведь задыхаюсь здесь, в вашем проклятом климате! Неужели моя нагота может вас шокировать? Разве вы не нагляделись достаточно здесь на голых туземок? Ах, как это глупо и досадно, на самом деле! Ну, протяните мне вон то одеяло, что ли, и я накину его на себя, если вам так хочется! Право, ужасно странно созданы люди — не могут равнодушно видеть друг друга такими, какими, казалось, они всегда должны были бы быть!

Но я... я просимого одеяла ей не подал! Со мной случилось что-то неопишное. Я — сошел с ума. Другого объяснения тому, что произошло — нет.

Внезапно, как ужаленный, я вскочил с кресла и... и сдернул с Лилиан покрывавшую ее вуаль.

Последовало самое невероятное.

Лилиан ван ден Вайден залилась таким неудержимым хохотом, которого я еще до сих пор не могу забыть.

Я никогда в жизни не слышал, чтобы люди могли так неистово хохотать.

Я стоял, как дурак, не зная, что мне предпринять.

Наконец хохот молодой девушки стал понемногу стихать. Она набралась сил и, опираясь на руку, привстала с постели и долго, молча, с нескрываемым любопытством разглядывала всю мою особу с головы до ног.

Очевидно, настроения быстро сменялись у нее, ибо она, по прошествии некоторого времени, быстро натянула на себя рядом лежащее одеяло, проявляя при этом все признаки охватившего ее возмущения и гнева.

Она сильно ударила меня по лицу, села на постели и дрожащей рукой указала мне на кресло, с которого я только что встал.

— Садитесь сюда, — спокойно сказала она и так же спокойно добавила: — Какая же вы, однако, скотина, господин священник! Мне это, конечно, только на руку. Я давно уже

убедилась, что с подлецами куда легче разговаривать, чем с людьми порядочными. Впрочем, их я и не встречала никогда. Извольте сесть в это кресло и слушайте, зачем я позвала вас к себе!

Как побитая собака, уселся я на указанное мне место. Дальнейшее прошло как в бреду. Я до сих пор не могу взять в толк, что ей именно надо было в конечном итоге, но... но я исполнил в точности ее приказание. Я исполнил его не даром. Я назначил огромный гонорар и получил его сполна. И теперь вся моя жизнь — я это знаю — будет сплошной мукой и тревогой, чтобы о случившемся как-нибудь не разузнали.

Впрочем, я думаю, мне нечего беспокоиться. Вряд ли этой сумасшедшей особе удалось осуществить свой чудовищно-невероятный план — она, без сомнения, либо съедена лесными жителями, на слово которых никогда нельзя полагаться, либо убита... Однако, я забегаю вперед. Лучше описать все по порядку.

Лилиан ван ден Вайден, без всяких предисловий, совершенно просто, будто говорила о вчерашней погоде, сказала мне следующее (я стараюсь сохранить все особенности ее речи, простой и ясной, головокружительно противоречащей тому содержанию, которое заключалось в ней). Вот ее слова:

— Не вам, ничтожному ханже и растлителю человеческих душ, стану объяснять я причины, побудившие меня принять то решение, о котором вы сейчас, первый и последний человек в мире, услышите. Для того, чтобы вы не удивлялись, почему я избрала вас своим помощником, должна предварительно сообщить вам следующее: я одна не в состоянии выполнить свой план. Мне нужен помощник. Вы показались мне вполне подходящим человеком. Отсюда я намеревалась отправиться к вам на озеро Тоб, но случай столкнул меня с вами раньше. Тем лучше. Я вижу в этом доброе предзнаменование. Итак, о причинах я умолчу и сообщу вам лишь то, что я решила и что мне от вас требуется. Я ничем не рискую. Если вы откажете и выдадите мою тайну, вам все равно никто не поверит, а вот мне поверят, ес-

ли я расскажу о вашем поведении... Впрочем, не считите это за угрозу. В вашем согласии я не сомневаюсь. В дальнейшем — я также не сомневаюсь, что вы не только будете держать язык за зубами, но еще всячески будете этим языком лгать для того, чтобы моя тайна не обнаружилась, ибо с той минуты, как вы станете моим сообщником, моя тайна станет вашей, и разоблачение ее будет грозить вам неприятными последствиями. Итак, слушайте: я хочу уйти к обезьянам!

Да! Она именно так и сказала: «Я хочу уйти к обезьянам!».

Несмотря на свинцовый туман, которым было пронизано все мое сознание, я невольно привскочил с кресла.

— Сидите спокойно, — сказала она, слегка касаясь меня своей рукой, и снова электрический ток прошел по моему телу, сковав безвольно все мои мускулы и заставив покорно опуститься на мое место.

— Вам этого не понять, — продолжала она, — да я вовсе и не намерена объяснять вам это. Ваше дело слушать и исполнять мои приказания.

— Но чем же я могу помочь вам в этом желании? — слабо запротестовал я.

— А вот чем, — отвечала Лилиан ван ден Вайден. — Отсюда мы намереваемся с отцом пройти сквозь чащу лесов, окаймляющих гору Офир. Проводников у нас нет еще. Вы должны обещать мне найти десяток туземцев, на преданность которых можно было бы рассчитывать. Они должны будут, перед тем как начать путешествие, снестись с лесными жителями и уговориться с ними, чтобы в определенном месте на нас было бы произведено нападение. Отца моего они должны взять в плен и, когда все будет кончено, вывести из леса и отпустить на волю; меня же они должны провести в самую чащу леса к становищам священных обезьян, местонахождение которых им хорошо известно. А там — это уже мое дело, как я поступлю и что буду делать. Как проводники, так и лесные жители получают за помощь крупнейшее вознаграждение. Не пытайтесь меня отговаривать или пугать коварством лесных жителей.

Я хорошо знаю, что если им внушить мысль, что я предназначена в жертву священным обезьянам, они ни меня, ни отца моего пальцем не посмеют тронуть. Теперь о вашем гонораре: какую сумму желали бы вы получить от меня?

Я молчал. Все это мне казалось таким диким и невероятным, что язык мой плотно прилип к гортани. Я дрожал всем телом и молчал.

— Я жду вашего ответа, — нетерпеливо, насупив изящно изогнутые брови, сказала молодая девушка.

И вдруг я начал приходить в себя. Конечно, ни о какой ловушке речи быть не могло. Лириан ван ден Вайден говорила совершенно серьезно, и я сообразил, что избавиться от этой особы мне было бы только на руку. К тому же, я начинал понимать, с кем имею дело. Господь послал мне дьявола на мой пастырский путь и мне предстояла нелегкая задача победить его.

И вдруг, подняв глаза, я увидел, что этот всемогущий Люцифер смотрит на меня. И тогда, не помня себя и не сознавая, что я делаю, я сказал четко и ясно:

— Я согласен. Однако, вы, несмотря на то, что встретились со мной здесь, все же принуждены будете побывать у меня на озере Тоб!

— Это почему?

— Для того, чтобы дать мне возможность повторить еще один раз все то, что произошло между нами здесь.

Я сам был удивлен твердости своего голоса и спокойствию, с которым я это сказал.

— Это ваш гонорар?

— Да.

Лириан ван ден Вайден колебалась лишь секунду.

— Я согласна, — опуская голову, сказала она.

15. VIII. Тоб. Я у себя дома. По дороге я заехал на форт Кок и нанял двенадцать отчаянных молодцов, которых я хорошо знаю. Так как форт Кок лежит в стороне, мы уговорились, что они будут дожидаться проезда ван ден Вайденов у Буйволовой расселины, где и предложат себя путе-

шественникам в качестве проводников. Для себя они запросили двадцать ружей, тысячу патронов, сто кусков шелка и пять пудов табака. Для лесных жителей – несколько десятков ожерелий из красного коралла, полторы сотни кривых ножей европейского производства и десять черепов белых, которые мне придется, с помощью моего слуги Меланкубу, отрыть из старо-голландского кладбища, расположенного в нескольких верстах от озера Тоб. Но это все не важно – это все пустяки. Важно вот что: вчера у меня была Лилиан ван ден Вайден...

16. VIII. Тоб. Как неприятно! И как это Лилиан, все так хорошо обдумавшая, не предвидела этого обстоятельства? Ведь проводники-туземцы останутся живыми свидетелями происшествия?! Их надо будет убрать! Впрочем, Меланкубу мне настолько предан, что сделает все, что надо. А все-таки неприятно!

20. VIII. Тоб. Лилиан погубила меня.
Плоть свою я больше не в силах обуздать!

24. VIII. Тоб. Пусть этой записью закончится мой краткий дневник. Вчера я узнал об исчезновении Лилиан ван ден Вайден, смерти двенадцати проводников и чудесном спасении старика отца. Молодец Меланкубу! Все сыграно прекрасно. Кажется, опасаться предпринятых поисков мне нечего. Лесные жители постараются запрянуть Лилиан как следует и куда следует! Однако, несмотря ни на что, я всячески буду препятствовать поискам пропавшей. Ведь ее тайна стала и моей тайной. В этом отношении господин Люцифер был прав!».

На этом месте дневник пастора Бермана кончался.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА МИСТЕРА УОЛЛЕСА

13. XII. 1913 г. Лондон. Вчера я переписал дневник пастора Бермана в свою тетрадь. Мое профессиональное чутье не обмануло меня, и все дело теперь представляется совершенно ясным и простым, да притом приблизительно таким, каким я себе его и представлял.

100 ф. стерлингов заплачены мною не даром, о чем я с гордостью сознался самому себе по прочтении любопытнейшего документа, врученного мне мистерам Петерсеном. Не могу скрыть своего изумления по поводу той легкости, с которой господин пастор путает Бога с сатаной. Это прямо забавно. Пара наручников, которые я захвачу с собой перед отъездом на Суматру, куда я твердо решил отправиться, — я полагаю, несколько охладят необузданную страсть этого ханжи в рясе. Удивительно, как такие господа, видящие грех в естественных стремлениях природы, умеют обострять сексуальную пикантность самых обыкновенных вещей, прикрываясь сутаной, за которой прячут свои душевные эмоции, выковыывая из одного и того же металла — и крест и нож.

И как это черная паства его не догадалась скушать своего просветителя? Или, может быть, мешает этому инстинктивная брезгливость дикарей?

Однако, господину пастору Берману повезло.

Проникнуть в дебри лесов Офира — задача, перед которой спасует, пожалуй, не один сыщик Скотланд-Ярда. Но я попробую. В конце концов, я рискую только своей головой, а это самая незначительная жертва. Гораздо хуже бывает иногда потерять свою записную книжечку! Итак, в путь!

С сегодняшнего дня я начинаю сдавать дела своему старшему помощнику и собираться к отъезду.

10. II. 1914 г. Лондон. Вчера я отправил мистеру Петерсену, на его сан-францисский адрес, телеграмму: «Завтра выезжаю Паоло-Брасе».

14. II. 1914 г. Пароход английского Ллойда «Колумбия». Я на море. Штиль. Это помогает мне сосредоточиться и выработать определенный план действия. Прежде всего — как можно меньше шума. Сперва — надлежащие справки, затем — свидание с господином пастором. С ван ден Вайденом лучше не встречаться. Старик он, видимо, горячий и может только повредить делу. И пастор будет спокойнее.

10. III. 1914 г. Паоло-Брасе. Дела подвигаются вперед. Помощники-туземцы найдены и дрессируются по системе Скотланд-Ярда. Необходимые справки наведены.

1. V. 1914 г. Паоло-Брасе. Из Лондона мне телеграфируют ужасную весть. Из Сан-Франциско пришла телеграмма от жены мистера Петерсена с извещением о гибели «Генерала Вашингтона» вместе со всей командой. Бедный шкипер! Однако — не дурное ли это предзнаменование?

10. VI. 1914 г. Озеро Тоб. На днях выступаю в путь. Вся подготовительная работа проделана. С пастором виделся. Лжет довольно искусно и не краснеет. С ним надо держаться настороже. Не сомневаюсь в том, что он будет чинить мне всяческие каверзы. Он отлично понял, что я первый его действительно опасный противник. Посмотрим, однако, господин миссионер, чья возьмет!

4. VII. 1914 г. Буйволово расселина. Мой собственный лагерь. Наконец, после трехдневного пути, я достиг этого глухого места с столь поэтическим названием и разбил лагерь.

Путешествие было не без приключений. Мой слуга Макка, туземец из племени ньявонгов, «нашел» в кустах «крисс», иначе говоря, кривой нож, достаточно острый, чтобы отрезать голову крокодилу. Однако, если этот идиот нашел

нож, то я нашел след того, кто этот нож подбросил. Этот след оказался принадлежащим слуге пастора Бермана, достопочтенному Меланкубу. Ловким маневром я сверил найденный след со стопой этого черного дьявола – совпадение было полное. Ну, что ж! На то я и агент Скотланд-Ярда, чтобы не придавать подобным пустякам никакого значения.

18. VII. Буйволова расселина. Гибель мистера Петерсена не приносит особого счастья моей затее. В самом начале и уже неприятности. Скверно. Впрочем, первый блин всегда комом, да к тому же все это было мной на всякий случай предусмотрено (не неприятность, конечно, а необходимость вернуться в лагерь обратно, после того как часть пути была уже сделана).

Третьего дня мы начали свое продвижение в лес. В лагере остались носильщики, сторожить вещи, а я и мои двое няньвонгов – углубились в лес. Мы продвинулись по крайней мере километров на шесть (шагомер мой показывал 18 километров, но мы ведь колесили взад и вперед, а не шли все время по прямой). Но сначала о неприятных событиях: Макка умер. Это произвело очень неприятное впечатление на его товарища Гутуми, который начал явно трусить. И действительно, произошло это событие крайне неожиданно и глупо. Впрочем, мне хочется рассказать все по порядку. Я настолько полон впечатлениями леса, я так зачарован виденным в его таинственных дебрях, что напоминаю собой господина пастора Бермана, стремящегося поскорее занести в свой дневник волнующие воспоминания.

Тишина. Полная, абсолютная, безмятежная, ненарушимая тишина. В музыке этого не передать. Музыкальная пауза – это не тишина! Музыкальная пауза полна предыдущих звуков и никогда не бывает тишиной. В тишине леса нет предшествовавшего звука. Все звуки резко и ясно обрываются с наступлением этой тишины... И тишина эта длится почти до заката солнца. Но с этой минуты звуки нарастают в лесу. Сперва – совершенно неожиданно для слушателя – перед самым его носом появляется крохотный мос-

кит. Он еле держится в воздухе на своих невидимых от быстрого движения, слабых, прозрачных крылышках, но он — о, вы это слышите, чувствуете всем своим существом! — издает какой-то звук. А может быть, ваша фантазия подсказывает вам этот звук, — не знаю. Потом появляется другой, третий... целая стая их окружает вас. Это уже целая симфония звуков — нежных, еле уловимых, легких, как дуновение ветерка. В клавиатуре самого точного музыкального инструмента нет даже намека, хотя бы увеличенного в сотни раз, на этот звук. Потом большая бабочка, садясь на яркий цветок, заставит качнуться стебель, и стебель... я думаю, мои коллеги из Скотланд-Ярда высмеяли бы меня, прочтя эти строки, — издает звон затронутой струны. Где-то над головой срывается с ветки свернувшийся листик и шелестит, падая на землю. Плоская голова змеи, высунувшись из-под камня, поет всем своим телом, быстро и грациозно изгибаясь, перебегая куда-то под другой камень. Но все это только настройка инструментов «под сурдинку» грандиозного симфонического оркестра перед началом увертюры. Вдруг, совершенно внезапно, свежающий воздух пронизывается резким, но в то же самое время глубоко-музыкальным писком птенца в невидимом гнезде неведомой птицы. Ему отвечает мать, и эти звуки уже отчетливо реальны. Далекий крик обезьяны подхватывается цокающим, гортанным всплеском каскада звуков зеленого попугая; где-то, почти за пределами леса, фыркает в ответ огромная самка бегемота, погрузившаяся по глаза в прохладную воду протекающей речки, мычит и ударяет твердым как кремнь рогом о тысячелетние деревья носорог и... симфония начинается! Этого не передать. Это говорит, это поет сам лес! Это его, ему принадлежащий голос. Бешено рвет воздух нетерпеливый рев королевского тигра, дико и пьяно мяучит притаившийся ягуар, щелкает панцирной пастью крокодил в затоне реки, звенит струя воды, выпускаемая лопаухим слоном из своего нежного хобота, хрюкает жадно гиена, бешеными визгами наполняют воздух краснозадые павианы и, разрывая маленькие глотки, пищат серенькие макаки, весело гоняясь за красно-зелено-

желтыми какаду. Еще тысячи тысяч звуков выплывают отовсюду; колеблют воздух, рвут его, ласкают и дразнят. И вдруг, заглушая все звуки, все крики, все голоса, откуда-то с опушки падает в бархатную ночь короткий, властный, ясный и спокойно-надменный голос льва. Значит – уже ночь. Его величество проснулся. И он голоден. Это понимают все. И разом умолкает все, только несколько секунд слышно еще, как плюхаются обратно в воду бегемоты, ломая неуклюжими ногами цепкие лианы, тяжело содрокая мягкую землю, убегают слоны, и юркие мартышки, сплетая друг с другом целые гирлянды, неподвижно замирают, перекинувшись от дерева к дереву. Ночь. И снова все молчит, но уже не молчанием знойного дня. В тишине ночи есть звуки. Эти звуки – страх. Как явственно слышны они и как бесконечно напряжена эта вынужденная ночная тишина! Что-то давит. Что-то давит, что-то не дает спать, позволяя лишь временами вздремнуть на мгновение, чтобы тотчас же проснуться и с ужасом оглянуться крутом. Но вот проходит ночь. И снова, для того, чтобы прекратиться к полдню, начинается неутомонная возня лесных обитателей, веселое щебетание птиц, залихватские беседы попугаев и дерзкие выходки серых мартышек!

Я увлекся. Я это знаю, но мне нисколько не стыдно. Я человек музыкальный и достаточно интеллигентный, чтобы оценить красоту вселенной. Разве мы, сыщики из Скотланд-Ярда, совсем уже не люди? О, нет! И мы обладаем этим... как его... поэтическим чутьем, что ли...

Вечером того же дня. Писать надоело. Однако, если я позволил себе лирическое отступление, то отнюдь не для того, чтобы забыть о деле. Итак, я опишу сейчас, как именно произошло то несчастье, о котором я уже упоминал в предыдущей записи.

Вначале все шло гладко. Мои проводники – сущие дьяволы, настоящие сыны леса; им ведомы все тайны, все извилины, все таинственности чащи. С ними чувствуешь себя как у Христа за пазухой. Страху перед лесными жителями, своими собственными собратьями, они подвержены в

высшей степени, но это их заставляет быть вдвойне осторожными и заботиться с необычайной трогательностью о моей особе, вооруженной «быстрой смертью», как они называют огнестрельное оружие, владеть которым не умеют и боятся.

И тем не менее, – Макка погиб!

Случилось это так. В одном месте наш путь был внезапно прегражден целым застывшим ливнем лиан, свисающих с совершенно непроницаемого для солнечных лучей лесного купола. Ветви деревьев образуют своды более прочные, я думаю, чем своды Вестминстерского аббатства. Пока Макка и Гутуми прорубали топорами отверстие в этой стене лиан, достаточно большое для того, чтобы через него мог ползком пролезть человек, я услышал три быстро следовавших друг за другом свистящих звука, смысла и значения которых уяснить себе не мог. Дьявол его знает, откуда они зародились! Однако слуги мои хорошо поняли, в чем дело. Оба они, бросив работу, стали мгновенно бледнее смерти, и единственное слово, которое я услышал от них, было: «бонг-а-бонг»! И тогда я понял: «бонг-а-бонг»'ом туземцы называют маленькие отравленные стрелки, выдуваемые лесными жителями из особой трубки.

Быстро оглядев себя с ног до головы, я принужден был убедиться, что мне стрела попала прямо в сердце. Макка получил укол между лопаток; я думаю, что, измерь я расстояния между каждой лопаткой и засевшей между ними стрелой-иглой, они равнялись бы друг другу с точностью до одного миллиметра! Стрела, предназначавшаяся Гутуми, каким-то чудом была отклонена в сторону пропорхнувшей птичкой. Макка умер быстрее, чем некогда появлялся на свет. Я не успел достать флакона с противоядием, приобретенным мною в лаборатории профессора Gerbert'a, специалиста по алкалоидным ядам, как он был уже мертв. Он буквально обуглился на моих глазах. Зрелище было из самых противных. Я, конечно, остался невредим. С нарочитым, громким смехом я выдернул стрелу из своей груди и бросил ее в сторону. Недаром же мною было заплачено фабрике Левинсон и К^о в Лондоне 1.500 ф. стерлингов за

кольчугу особого изготовления, мягкую, как рубашка, но сквозь которую не пройдет пуля, выпущенная на расстоянии десяти шагов из винчестера новейшей конструкции! То обстоятельство, что я ношу ее, я считал нужным скрывать от своих слуг и был, конечно, прав. Гутуми, видя меня раненым, но невредимым, упал передо мной на колени, а нападавшие лесные жители, выдавая криками ужаса свое присутствие в ветвях деревьев, как обезьяны карабкаясь по лианам, исчезли куда-то в мгновение ока. А жаль! Свое знаменитое ружье я уже приложил к плечу. Не снимая пальца с курка, я выпустил по ним все сорок пуль, но не знаю, причинил ли кому какой вред. Ну и трескотня же пошла по лесу от моих выстрелов! Гутуми, стоявший все время на коленях и никогда еще не выдавший моего ружья в действии, счел нужным совершенно распластаться передо мной. Времени, однако, терять было больше нельзя. Нападение могло повториться. Приходилось на этот раз ретироваться. Тут меня крайне, с одной стороны, рассмешила, а с другой – тронула неограниченная вера в меня Гутуми.

Он имел неосторожность просить меня воскресить своего мертвого товарища!

Что поделаешь! Пришлось пуститься в дипломатию довольно подлого свойства. Я серьезно заявил Гутуми, что если б его, Гутуми, убили бы, я, конечно, не замедлил бы заняться процессом воскрешения, так как он, Гутуми, преданный и хороший слуга, а Макка я воскрешать не намерен. На Макка я зол за то, что он хотел меня убить крисом, и считаю, что он заслужил вполне свою участь.

Дикари, как видно, не лишены логичности.

Эти доводы вполне убедили Гутуми и он, в конце концов, признал, что «белый господин прав: Макка поплатился жизнью за то, что хотел поднять руку на своего «великого господина».

Однако, дальше он стойко и наотрез отказался идти, сообщив мне, что долг перед его племенем заставляет его сперва похоронить Макка. Ведь Макка был братом великого вождя ньявонгов и оставлять его тело лесным жителям

было, по мнению этого дикаря, равносильно самому подлому поступку.

К тому же его собратья, когда он вернется к ним, убьют его, если узнают о его вероломстве.

Настала моя очередь согласиться с доводами Гутуми, и так как и я не лишен логичности, то вскоре уступил дикарю в его настойчивых требованиях. Этим я не только не ронял себя в его глазах, но, наоборот, становился еще выше.

Всю обратную дорогу Гутуми, как бы извиняясь передо мной, с трудом волоча на себе черный труп своего товарища, бормотал все одно и то же:

— Ах, если Гутуми не сможет сказать великому брату Макка, где Макка спит с головой на плечах, то Гутуми никогда не сможет вернуться домой. Т. е. сможет, — поправлял он себя каждый раз, — но тогда Гутуми сделают «кри-кри» (иначе говоря, зажарят и съедят)... Гутуми любит лучше сам делать «кри-кри», — чистосердечно признался он под конец.

Итак, мы вернулись. Макка уже, слава богу, похоронен по всем правилам ньявонгского похоронного искусства, и завтра, по проторенной уже дороге, мы снова пускаемся в путь, на этот раз — я хочу надеяться — уже не возвращаясь обратно к Буйволовоу расселине без победы.

19. VIII. 1914 г. Буйволовоу расселина. Лагерь. Вот тебе и выступили! Ну это уж совсем дрянь! Положительно приходится верить в приметы. Ах, мистер Петерсен, мистер Петерсен! Что же нам делать? Неужели же придется отложить все дело на совершенно неопределенный срок? Вот, поди, господин пастор Берман ликует-то! Положительно приходится признать, что дьявол стоит за спиной этого недоноска.

Встав в пять часов утра, я начал приготовление ко вторичной вылазке в дебри леса. Как раз в ту минуту, когда я одевал свой пояс, к которому прикреплен мой револьвер, мой слух уловил отдаленный топот копыт. «Кто бы это мог быть?» — подумал я, зная, что эти места не особенно охот-

но посещаются путешественниками, а почтовый тракт лежит в 50-ти километрах отсюда. Вскоре показавшийся всадник оказался курьером английского уполномоченного по колониальным делам на острове Суматра, прибывшим из Паданга. Я знал, что добрых вестей этот неожиданный гость привезти с собой не мог. Так оно и оказалось. На мое предложение войти в палатку он ответил вежливым отказом, мотивируя свой отказ спешностью, с которой он должен побывать еще в других местах, и, не слезая с лошади, подал мне пакет. Пока я вскрывал его, он успел рассказать мне, что побывал на озере Тоб, ища меня там, и, узнав от пастора Бермана, что я здесь, прискакал сюда. Это поразило меня. Откуда пастор Берман знал, что я именно здесь? За мной, очевидно, неустанно следили. Но долго я не останавливался на этих мыслях. Содержание пакета еще больше поразило меня и отвлекло в свою сторону все мои мысли. В Европе вспыхнула война. Английский поверенный в делах, на основании полученной им телеграммы из английского военного министерства, призывает меня немедленно явиться в Паданг, откуда все английские подданные будут на специально прибывшем крейсере отправлены в Англию на театр военных действий. Мобилизация охватила чуть ли не десять призывных возрастов. Вот так история! Не раньше, не позже! Однако, унывать особенно все же еще преждевременно. На одну вылазку времени у меня еще хватит. Курьер уполномоченного сообщил мне, что раньше трех дней он не успеет оповестить всех английских подданных, проживающих на Суматре, а крейсер не уйдет в море, пока все не соберутся в Паданге. Я успею попытаться еще один разок. Авось повезет на этот раз. Надо же мне просунуть голову в прорубленную в прошлый раз дыру. Итак, проводив своего неожиданного гостя, вестника грома и войны, я быстро собрался в путь. Через три дня я вернусь. На пятый день я буду в Палембанге. Со щитом, или на щите!

21. VIII. Дьявол знает, что это за место. Теперь я сомневаюсь, попаду ли я на войну. Или вообще куда-нибудь. Смерть Петерсена, клянусь Британией, оказалась грозным

предостережением, которым я пренебрег. Однако, по условиям места, времени и сложившихся обстоятельствах, надлежит быть как можно более кратким в своих записях: я в плену. Однако, не это угнетает меня в настоящую минуту. Меня больше всего путает и мучит мысль, что мне не удастся выполнить своего долга военнообязанного перед своей великой родиной, которая еще сочтет меня трусом и дезертиром. А ведь это похоже на правду. Ну как же я, без Гутуми, в довершение всех зол, столкнусь с этими... я не знаю, как их назвать... существами? По-английски они понимают не лучше, чем я по-санскритски, а о долге солдата и гражданина у них, без сомнения, самые элементарные понятия. Что мне делать? Голова готова треснуть от напряжения. Пока они совещаются насчет моей особы, я представлен самому себе и, так как совещание их, по всем признакам, затягивается, попробую описать поподробнее, что со мной произошло. В сущности говоря, рассказ будет о том, как я, агент Скотланд-Ярда и англичанин прежде всего, попал в мышеловку. Это даже будет поучительно для потомства! Если они решат меня убить, я запечатаю этот дневник в особый алюминиевый футляр, из которого механически может быть удален воздух при посредстве простой спички (этот футляр – патент нашего Скотланд-Ярда), и постараюсь опустить его в ручей, который находится за моей спиной. Футляр настолько легкий, что нет сомнения – быстрые воды ручья вынесут его за пределы леса и, рано или поздно, кто-нибудь найдет его. Такие вещи всегда находятся! Итак, – к делу, поторопиться все-таки не мешает! Участь моей судьбы в настоящую минуту мне известна в гораздо меньшей степени, чем местонахождение безумной леди Лилиан ван ден Вайден, из-за которой я гибну.

Однако, как все это досадно вышло! Я никогда в жизни не позволил бы себе так глупо погорячиться, как я это сделал вчера, если б не то обстоятельство, что мне надо было торопиться. Сознание, что это моя последняя попытка выиграть дело – погубила меня. Англия! Англия! Я совершил преступление перед своей родиной, и я, если б был честным человеком – не должен был предпринимать совсем

этой последней экскурсии. Мой поступок равносителен поступку проигравшегося игрока, который закладывает последний банк на чужие деньги. У меня такое чувство, что мне уже не выбраться отсюда. Ясно для всякого джентльмена, что я должен был, получив пакет, немедленно отправляться в Паданг, а не «пытаться в последний раз» и т. д. В ту минуту, когда я решился на эту последнюю попытку — клянусь Богом — я был не англичанином. Англичанин не поступил бы так. Ах, как это тяготит меня! Гораздо больше предчувствия смерти. Если б только эти обезьяны поняли это! Но скажу только одно: Англия может быть все же вполне уверена в том, что я, подданный его величества короля величайшей страны в мире, дешево жизнь свою не отдам. Ружье мое сломано уже давно легким ударом по согнутому колену одной из пленивших меня отвратительных обезьян, обладающих, видимо, сверхчеловеческой силой, однако запасной мой револьвер цел. Мой сильнобойный револьвер был потерян мной, очевидно, в то мгновение, когда я проползал на животе в прорубленную в лианах дыру. Очевидно, кобура отпоролась от кушака, и я не заметил этого. Ничего. Военный совет о моей персоне держат двенадцать дьяволов в двадцати шагах от меня. Одиннадцать из них уже обречены. Я только не решил еще, кого я оставлю наслаждаться прелестями жизни в будущем.

Когда мы подошли с Гутуми к вырубленной в прошлый раз дыре, соблюдая всевозможные предосторожности, Гутуми вдруг остановился и молчаливыми знаками указал мне на такое пустячное обстоятельство, которое мне лично никогда не бросилось бы в глаза. На расстоянии одного шага от меня, через протоптанную нами в прошлый раз тропинку свисала гирлянда раффлезий, перекинутая от одного дерева к другому. Я только собирался оборвать ее, как получил здоровый удар кулаком в грудь от Гутуми, заставивший меня отшатнуться. Гутуми был бледен как полотно, когда еле выговорил:

— Белый господин лишился два глаза. Разве белый господин не видит того, что видит Гутуми? Гутуми видит цветы, и цветы, которые видит Гутуми — мертвы. Почему?

Я стал догадываться, что гирлянда раффлезий перекинута от дерева к дереву искусственным образом.

— Это «тай-тай», — с благоговейным ужасом сообщил все еще бледный как бумага Гутуми. — Белый господин знает «тай-тай»?

С этими словами Гутуми с ловкостью обезьяны слегка только качнул гирлянду раффлезий и молниеносно отпрыгнул в мою сторону.

Результат получился самый неожиданный.

С резким металлическим свистом откуда-то сверху, из самой гущи сплетенных между собой ветвей, упала и глубоко врылась в землю маленькая стрела, конец которой, без сомнения, был отравлен страшным ядом.

— Лесные жители не могли убить сердца белого господина, — сказал Гутуми, — они хотели тогда убить его голову. О... это «тай-тай»!

Молча и хмуро мы двинулись дальше.

Восторг Гутуми, вызванный предупреждением моей гибели, очевидно ослабил внимание бедного дикаря. Я думаю, это обстоятельство учитывается лесными жителями при устройстве ими всевозможных ловушек, так как таковые, как я убедился, устраиваются ими одна за другой, потом следует известный перерыв, а потом опять несколько подряд. Следующая ловушка, в которую, увы! — и попал бедный Гутуми, была буквально в четырех шагах от страшного «тай-тая».

Он наступил на совершенно гладкое место, не вызвавшее ни малейшего подозрения, и провалился в землю, как Мефистофель проваливается в преисподнюю в опереточных фарсах на провинциальной сцене. Когда я подошел к образовавшейся яме, Гутуми был уже мертв. Он оцарапал только лицо, и то незначительно, о колючий хворост, наполнявший дно ямы, но этого было уже достаточно. Хвост был отравлен. Вот когда мне надлежало вернуться! Путь позади был чист от всяких ловушек и хорошо мне знаком — ведь я два раза проходил его, но... голова моя потянулась к прорубленной накануне дыре и я... решил только просунуть ее, мою глупую голову, в эту заманчивую дыру.

Как легко догадаться, я это и сделал.

С необычайнейшими предосторожностями я подошел к отверстию, хорошо помня, что именно здесь нашел свою смерть бедный брат великого вождя нья-вонгов, и на мгновение остановился.

Кругом было так тихо, что короткие удары моего сердца громко раздавались у меня в ушах.

Тщательно исследовав почву вокруг себя, избегая прикасаться к самым естественным образом торчащим сучкам и веточкам, я стал на колени, надел на лицо предохранительную маску и пролез в отверстие.

Вдруг отверстие, через которое я только что пролез, отверстие, которое находилось в каких-нибудь пяти-шести шагах от меня – исчезло!

Если в первую минуту это рассмешило меня, то во вторую уже озадачило, а в третью... я сразу почувствовал невидимого врага. Затвор моей винтовки резко щелкнул под давлением моих пальцев, нарушая безмятежную тишину поляны, и каждую секунду я был готов приложить ее к плечу.

Но сделать мне этого не удалось.

Внезапно, очевидно, оттолкнувшись с силой и ловкостью сказочного акробата от упругой ветви дерева, с противоположной стороны поляны, покрывая в воздухе по меньшей мере ярдов пятьдесят, прямо на меня перелетело какое-то неопишемое чудовище гигантского роста, смутно напоминающее не то человека, не то обезьяну. Я лучший стрелок Скотланд-Ярда, а потому нисколько не удивился, когда моя пуля поймала это чудовище на лету в то время, когда оно уже было на расстоянии всего нескольких ярдов от меня. А стрелял я из винтовки, которую держал на вытянутой руке, так как приложить ее к плечу у меня не оставалось времени. Оно сдохло, это чудовище, тут же, на моих глазах, безо всякого протеста со своей стороны. Но зато запротестовали другие, и что мог я поделывать один, даже со своей винтовкой, когда, как демоны, слетающиеся на шабаш, со всех деревьев, со всех сторон, со всех углов на меня посыпались эти дьяволы?

Моя винтовка трещала как пулемет, и в две с половиной секунды были выпущены все тридцать девять оставшихся в магазине ружья пуль. Но ни одна из них не попала уже в цель. На перезаряд винтовки времени уже не было, ибо все остальное было делом нескольких секунд. Меня сбили с ног, связали, разбили мою чудную винтовку, завязали глаза и куда-то унесли. Несли меня долго и бережно. Я чувствовал, что дорога то опускалась куда-то вниз, то снова поднималась. Порой получалось впечатление, что мои носильщики спускаются и поднимаются по ступеням. Это очень возможно. Ведь несли меня долго, а площадь поляны была не так уж велика и я ни разу не почувствовал, чтобы какая-нибудь ветка задела за меня. Очевидно, у этих чудовищ вырыты под лесом – из поляны в поляну – подземные ходы. Наконец, меня опустили на землю, сняли с меня глубоко врезавшиеся в мое тело лианы, которыми я был опутан, и открыли мне глаза.

Затем меня, как ни в чем не бывало, предоставили самому себе, не выставив даже караула, чтобы охранять меня. Это пренебрежение к мой особе и подчеркивание моей полной безвредности для окружающих меня врагов – взбесили меня невероятно, но я сдержался. К тому же я был слишком поражен видимым... Я... я попал в плен отнюдь не к лесным жителям, как полагал, а к... обезьянам!

Я даю слово агента Скотланд-Ярда, что это так, или, или я никогда в жизни не видал обезьян!

Единственное, чем могу и должен оговориться: такой породы обезьян я еще никогда не видал. Я даже не знал о ее существовании. Пленившие меня чудовища обладают всеми признаками обезьяны – это несомненно; внешне они мало чем отличаются от знаменитой «Нелли» – гориллы лондонского зоологического сада; они только втрое крупнее ее, и... в их манерах, в способе их действия, они... ну, если не люди, то – нечто вроде таковых. К тому же они почти членораздельно говорят друг с другом. Это какие-то живые неандертальцы, что ли. И потом... они все голы, а потом, я не мог не заметить этого... они – дуполы.

То место, где я в настоящую минуту нахожусь, весьма напоминает собою поляну, в которую я пролез сквозь прорубленное отверстие в лианах, за тем лишь исключением, что в нескольких шагах от меня, влево, виднеется вход в подземелье, с прекрасно оттесанными ступенями. Очевидно, вышеприведенные догадки мои о подземных ходах – правильны.

Справа от меня, как я уже писал – шагах в двадцати, сидят двенадцать... ну, право я не знаю, как их назвать? – двенадцать пасторов Берманов в прошлой жизни, что ли, и ведут, вот уже около двух часов, военный совет, темой которого являюсь я – мистер Уоллес.

У меня такое впечатление, что они дожидаются кого-то...

* * *

Я отлично выспался. Никто не мешал мне спать.

Наоборот, один из собратьев уселся возле меня на корточки и все время отгонял от меня веткой банановой пальмы надоедливых moskitov. Когда я проснулся, мне тотчас же принесли еду: плоды хлебного дерева, бананы, какие-то необычайно вкусные орехи, которыми можно одновременно прекрасно и насытиться и утолить жажду.

Военный совет окончен. Очевидно, пока я спал, являлся тот, кого они ждали.

Меня поражает их отношение ко мне.

Такой предупредительности, я бы сказал, даже заботливости, полной глубокого уважения к моей особе, я никак не ожидал встретить.

Это меня и удивляет и пугает. В чем дело? Что они хотят от меня? Или, может быть, их совет окончился в мою пользу?..

* * *

На поляне напряженная, торжественная тишина. Слышно только журчанье ручья и потрескивание факелов. Или, быть может, я ошибаюсь? Когда я кончил свой ужин, раздался крик не то радости, не то испуга. Показалось лишь на мгновение крошечное существо. Затем за этим существом протянулась огромная мохнатая лапа, которая загнула его бережно и нежно и вернула обратно в недра земли. Но я успел совершенно ясно разглядеть это существо! Конечно, это не был человеческий ребенок, в этом я ни минуты не сомневаюсь, но я клянусь своей преданностью Англии, что это была и не обезьяна. Ребенок был наг и ни единый волосок не покрывал его розового тельца. Вокруг пояса была повязка из грубой материи. Его ручки были нормальной длины, не достигали колен, и между пальцами не было перепонки.

Нижняя часть его лица была скорее обезьяньей, чем человеческой, но верхняя часть его лица была прекрасна!

* * *

Все то же место. Да. Я был прав. Я, Стефен Уоллес, последний раз доказал миру, что школа Скотланд-Ярда – хорошая школа, и честь этой школы мне выпало на долю подержать.

Но, увы! в последний раз!.. Однако, это совершенно не важно. Важно то, что я нашел... нашел... я, право, не знаю, можно ли ее титуловать в настоящее время подобным титулом... леди Лириан ван ден Вайден! Вчера я видел ее. Не только видел, но и имел сомнительное удовольствие беседовать с ней! Как она выглядит, я не знаю. Она одета в шкуру обезьяны и на ее лице обезьянья маска. Но... дьявол меня побери, если я в этом ошибаюсь! Когда она появилась на поляне в своей безобразной шкуре, настолько плотно облегавшей ее фигуру, что отличить ее от ее «собратьев» не представлялось ни малейшей возможности, я... мне стыдно и странно писать об этом... я услышал настоящий

аромат женщины. Клянусь Вельзевулом! Мой нюх сыщика остер, как у шакала. Ведь туземная женщина не пахнет так; она — да простят мне это сравнение — просто воняет. Даже наши простые европейские девушки и дамы ничем не пахнут. Разве что дешевым семейным мылом.

Я всегда был убежден в том, что шесть поколений английского колледжа могут сделать из любого человека джентльмена. И я был прав.

Десять лет сделали из леди Лилиан ван ден Вайден — самую настоящую обезьяну. Я искренне огорчен, что со мной нет достопочтенного пастора Бермана. Таким людям не мешает учиться.

Лилиан ван ден Вайден вышла из подземелья, окруженная десятью чудовищами такого гигантского размера, что, казалось, они стоят на ходулях.

Они образовали шеренгу от подземелья вплоть до моей особы, и сквозь эту шеренгу, гордо подняв голову, прошла бывшая леди и прямо подошла ко мне.

Я был поражен певучестью ее голоса.

На чистейшем и прекраснейшем английском языке она спросила меня:

— Вы англичанин?

— Да, — ответил я.

— Кто я такая, вам известно?

— Вы были леди Лилиан ван ден Вайден.

Лилиан расхохоталась.

— Вы знаете, почему я здесь?

— Накажи меня св. Стефан, если я даже догадываюсь об этом! — совершенно искренне воскликнул я.

— Если бы я захотела даже рассказать вам об этом, вы все равно не поняли бы меня, — тихо, с некоторой печалью в голосе сказала Лилиан. — Это была бы бесполезная трата времени. А потому — бросим это. Скажите мне лучше: зачем вы явились сюда?

В этом последнем вопросе Лилиан проявила уже некоторую резкость и в голосе ее я уловил какие-то гортанные звуки, какие часто прорываются у обезьян. «Лет через двад-

цать ее, пожалуй, и без шкуры нельзя будет отличить от ее супругов» — подумал я.

— Я пришел, чтобы отыскать вас, — также повышая голос, сказал я.

— Вы пришли за собственной смертью, сэр, — сухо ответила она.

— Вы ошибаетесь, леди. О смерти я думал меньше всего. Уверяю вас. Однако предупреждаю вас, леди: кого бы вы из себя ни разыгрывали, но вы все-таки голландская подданная и за мою смерть вам придется ответить.

— Ответить? Кому же?

— Англии.

Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь смеялся добродушнее и безудержнее этой особы.

— Леди, — корректно прервал я поток ее серебристого смеха, — это не смешно, а грустно. Уверяю вас, что у каждого есть свои теории и взгляды на жизнь, высмеивать которые просто неприлично. Ведь я же не касаюсь ваших убеждений! У вас они свои, у меня — свои. И вот, разрешите, я доложу вам о них: Англия — вечна. Мы оба белые, и смешно, если бы мы не договорились с вами. Я не могу договариваться с вашими... вашими... виноват, я не знаю, как назвать их... супругами, братьями, что ли, но зато вы можете это сделать. И во имя белого человечества я умоляю вас приказать им отпустить меня, а самой последовать за мной в покинутый вами мир, который вам только и свойственен. Поймите же, это так ясно! В конце концов, если вам уж так хочется здесь остаться, то вникните как следует в то, что я вам скажу. Я повторяю, с вашими собратьями мне не о чем говорить, но вы-то должны понять такие простые и ясные вещи: отпустите меня одного! Я не трус, леди, смею заверить вас в этом, и жизнью не дорожу, — доказательство тому то, что я здесь. Но есть одно обстоятельство, которое выше меня. Оно-то и заставляет меня просить вас о даровании мне свободы. И вы, как человек, бывший раньше в нашем обществе, не можете не понять меня и должны даровать мне эту свободу. Вот в чем дело, леди: в Европе вспыхнула война, в которой принимает участие также и Англия, и я,

как военнообязанный, должен вернуться на родину. Иначе, леди, меня сочтут за дезертира, скрывшегося от исполнения своего долга, а это для меня куда страшнее смерти. Понятно, вы можете отказать мне в моей просьбе, больше того – вы можете убить меня, но какой толк будет от этого, леди? Я кончаю тем, с чего и начал. Англия вечна. В конце концов, она узнает о моей гибели. Пройдет год, два, может быть, десять лет, сто лет, быть может, леди, но... Англии торопиться некуда и, уверяю вас, рано или поздно сюда придут англичане и скажут: здесь был убит мистер Уоллес. То, что он был мистером Уоллесом – не важно, важно то, что он был английским подданным. Отлично. Мы не торопились, но теперь пора отомстить за это убийство. И уверяю вас, леди: тысячами голов ваших собратьев вам придется расплатиться за одну мою голову! Англия не забывает ничего. И ничего не прощает!

Лилиан слушала меня молча, не перебивая.

Когда я кончил, она коротко ответила:

– Предложение вернуться с вами – это глупая дерзость с вашей стороны, сэр. Отпустить вас – невозможно. Здесь у меня иные понятия о чести и достоинстве. И эту вашу просьбу я не могу исполнить, иначе к чему были эти десять лет, проведенные мною здесь? Нет, сэр. Приговор вам уже вынесен. И прошу вас, сэр, не называть меня белым человеком. Я давно перестала им быть, что составляет мою неотъемлемую гордость и достоинство. Вы желаете еще что-нибудь сказать, сэр?

– Сказать – нет, но сделать да.

С этими словами я спокойно достал свой револьвер из потайного кармана и, отстранив от себя Лилиан ван ден Вайден, в которую я не мог стрелять, как в белую женщину, я выпустил все одиннадцать пуль револьвера в мужей Лилиан.

Одиннадцать чудовищ, обливаясь кровью, повалились на землю. Подавая леди Лилиан ван ден Вайден свое опустевшее и ненужное мне уже оружие, я с улыбкой сказал:

– Это небольшой аванс Англии в деле моего отмщения. А теперь, леди, сердце мое готово стать вашим.

Вместо ответа Лилиан с плачем упала на трупы своих мужей, рыдая, как Ниобия над своими окаменевшими детьми. Крупные слезы текли из вырезов для глаз ее отвратительной маски и дрожащими каплями застревали в густой ее шерсти.

Я отвернулся».

* * *

Профессор Мамонтов бережно закрыл дневник мистера Уоллеса, протер кулаками сильно разболевшиеся глаза и грузно опустил свою львиную голову на шаткую доску маленького походного столика.

Наступал новый день.

Книга четвертая

ЖЕРТВА

Найденный дневник Уоллеса Мамонтов решил до поры до времени скрыть от всех, чтобы не взбудораживать ученых преждевременно.

Дневник этот все же еще не был наукой, он напоминал скорее роман, чем науку.

Надлежало немедленно же начать попытку проникновения в чащу леса, тем более что в настоящее время это было легче сделать, чем десять лет тому назад.

Ведь лесные жители куда-то и почему-то таинственно исчезли и путь был, как будто бы, открыт.

Времени до назначенного к отъезду дня оставалось немного, и откладывать свое решение в долгий ящик было невозможно.

Один только день позволил себе отдохнуть профессор Мамонтов, чтобы обсудить лишний раз все детали предстоящей экскурсии, которую он намеревался предпринять в единственном числе, и собрать все необходимые для этой экскурсии принадлежности: топор, нож, револьверы и съестные припасы.

Профессор Мозель не мог скрыть своего удивления, когда увидел своего знаменитого коллегу, вооруженного вышеозначенными принадлежностями, зашедшего к нему в палатку, чтобы проститься, сообщить о своем намерении в последний раз попытаться счастья в лесах Малинтанга и передать несколько писем, адресованных в Россию, на случай, если бы он не вернулся.

Мозель не противоречил.

Он пожал руку своему товарищу и, стараясь сохранить внешне спокойный вид, весело сказал:

– Ну, желаю вам удачи на этот раз. Вы вполне заслужили ее. До скорого свидания, дорогой друг!

Мамонтов ушел.

С ван ден Вайденом он умышленно не попрощался, предчувствуя, что старик, узнав о его намерении, тайно последует за ним, вопреки его воле.

На третий день он достиг уже Буйволово́й расселины, которую, следуя методу мистера Уоллеса, избрал исходным пунктом своего путешествия.

* * *

Достичь же той полянки, на краю которой протекал ручей, в песке которого был найден профессором Мамонтовым дневник мистера Уоллеса, было делом необычайно простым и легким.

Проторенная им в прошлый раз тропинка еще не успела зарости новой паутиной папоротников и мхов, к тому же Мамонтов, прошедший военную школу, хорошо владел наукой топографии местности и легко и быстро ориентировался в совершенно незнакомых местах.

К вечеру третьих суток Мамонтов, как и в первый раз, пил уже воду ручья.

Но куда надлежало двигаться дальше? Вот в чем был почти неразрешимый вопрос.

И вдруг Мамонтова осенила счастливая мысль. И как это раньше она не пришла ему в голову? Ведь ясно: если в этом ручье был найден дневник мистера Уоллеса, то, следовательно, это и есть тот самый ручей, который катил свои волны и через владения племени человекообразных существ. Следуя по его берегу, Мамонтов неминуемо должен был достичь той площадки, на которой разыгралась трагедия мистера Уоллеса!

Но легче было это сообразить, чем поступить согласно этому соображению! Полянка, на которой находился Мамонтов, была обнесена кругом стенами лиан такой крепости, о которой не мечтали белые люди, сооружая стены своих жилищ. Приходилось действовать топором, ножом, но – другого выхода не было. Несмотря на все поиски подземных ходов, о которых предполагал мистер Уоллес, Мамонтов решительно ничего не обнаружил. Земля на поляне была всюду плотно и крепко утрамбована.

Итак, в ужасном предчувствии, что ему не хватит сил на столь титаническую работу, Мамонтов принялся за дело.

В том месте, где ручей скрывался в змеевидных сплетениях лиан, Мамонтов опустился на колени и принялся рубить одну ветку за другой. Кто знает упругость и крепость лиан, тот поймет, что это был за труд!

К заходу солнца отверстие было уже настолько глубоким и широким, что можно было проползти в выдолбленном коридоре несколько шагов.

Но крайняя утомленность и мгновенно наступившая темнота заставили Мамонтова отложить работу до утра. Разведя большой костер, чтобы отпугнуть диких зверей, Мамонтов с наслаждением закусил захваченными с собой консервами, не утоляя своего голода вполне, в целях экономии пищи: он совершенно не знал, сколько времени ему придется пробыть еще в лесу.

Подбросив сучьев в огонь, Мамонтов расстелил на росистой траве поляны свой походный плед, подложил под голову вещевой мешок, сжал рукой в кармане свой револьвер, свободной рукой достал папиросу, закурил ее о тлеющую головешку и растянулся во весь свой рост в твердом намерении прободрствовать всю ночь напролет.

Сперва погасла папироса, и у Мамонтова не хватило силы зажечь ее. Он ее выплюнул изо рта. Потом, как это всегда бывает с очень утомленными людьми, он перестал думать, дыхание стало ровным и глубоким, и всепобеждающий сон, совершенно против его воли и совершенно незаметно для него, скован его тело и погрузил его сознание в таинственный мрак...

* * *

Кто-то поднял огромное тело Мамонтова, — так легко, будто это была высохшая соломинка, в то время как кто-то другой осторожно стягивал у него на затылке узел какой-то ароматной тканью, всеми силами стараясь не втянуть в

этот узел его густых, седеющих волос, чтобы не причинить пленнику неприятного ощущения или боли.

Мамонтов проснулся мгновенно и принужден был убедиться в том, что его несут, осторожно и бережно, как ребенка, на нечеловечески сильных, нестибающихся, вытянутых руках.

И он испытал то же ощущение опускания и подымания по ступеням, которое испытал некогда мистер Уоллес.

Его несли больше часа. За все это время ни Мамонтовым, ни его носильщиками не было проронено ни единого звука.

Наконец его плавно и осторожно опустили на землю и тотчас же сняли повязку с его глаз.

Мамонтов приподнялся сперва на локте, потом сел.

Достаточно было беглого взгляда, брошенного им по сторонам, чтобы убедиться в том, что он находится на той площадке племени человекообразных обезьян, которую описал в своем дневнике мистер Уоллес...

* * *

Их было около двухсот душ, окруживших площадку правильным четырехугольником.

Молчание никем не нарушалось.

Прямо перед профессором находился спуск в таинственное подземелье, из которого десять лет тому назад явилась в обезьяньей шкуре леди Лириан ван ден Вайденом ошеломленному взору мистера Уоллеса.

Единственная досада, неприятно донимавшая ученого, было сознание, что он не обладает удивительным футляром, в котором могли бы сохраниться его записи, если не столь романтические, сколь они были у мистера Уоллеса, то уж во всяком случае куда более ценные с научной точки зрения. Записывать что бы то ни было не имело смысла: если его убьют — это окажется пустым занятием, если он увидит еще

один раз хоть на полчаса кого-нибудь из своих коллег — он сумеет им передать все виденное здесь.

И... тем не менее, — такова вера в жизнь у человека, — профессор достал из кармана свой походный фотографический аппарат и произвел им несколько снимков человекообразных существ.

Даже такому ученому, как он, необходимы были реальные доказательства того, что он, в случае возвращения к людям, должен был рассказать им.

Слишком невероятно было его открытие!

Профессора поразило, с каким доверием эти гиганты отнеслись ко всем его действиям.

Ведь на опыте мистера Уоллеса они могли научиться не верить белому человеку. Однако фотографический аппарат, который они легко могли принять за огнестрельное оружие, нисколько не смутил их, и никто из них не сделал попытки отнять его у профессора.

Мамонтов встал, потянулся, спрятал свой аппарат в карман и подошел к одному из человекообразных.

Сам высокого роста, он едва достигал этим гигантам до первых реберных дуг.

Профессор зашел за спину одного из человекообразных, и, став на цыпочки, прикладывая пальцы к его обросшей шерстью спине, принялся считать грудные позвонки.

Гигант стоял спокойно и не шевелясь, лицо его расплылось в улыбку, а в глазах заискрились теплые и приветливые огоньки.

Профессор даже вытянутой рукой не мог достать первого грудного позвонка. Тогда он жестами, приседая на корточки, стал просить своего исследуемого пациента опуститься ниже или согнуться.

Исследуемый гигант понял, что от него требовали, и добродушно стал на колени перед профессором Мамонтовым, одобрительно похлопавшим его по плечу.

Счет позвонков возобновился.

— Тринадцать, — вторично пересчитав, громко сказал профессор и облегченно вздохнул.

Далее последовало измерение черепа.

Человекообразное существо, не двигаясь, разрешало проделывать над собой всяческие эксперименты, не только не протестуя, но даже стараясь не затруднять профессора лишними движениями — само подставляя ту часть тела, за исследование которой принимался профессор, с большой сообразительностью догадываясь о намерениях ученого.

Таз этого существа оказался в пропорциях таким, каким его вылепил из гипса профессор Мамонтов на основании своей знаменитой находки в силурии Богемии.

Профессор торжествовал и, казалось, его ничем не сдерживаемая радость и веселье передались пленившим его существам.

Когда исследование закончилось, профессор протянул руку своему пациенту и крепко пожал лапу своего «параллельного брата».

Однако это чуть не стоило профессору руки.

«Параллельный брат», догадавшись, чего от него хотят, в свою очередь ответно пожал руку профессора, стараясь сделать это как можно нежнее, но кости профессорской кисти захрустели на всю поляну.

Профессор невольно вскрикнул, размахивая в воздухе занывшей рукой.

— Нельзя ли поосторожнее! Ведь перед тобой не мистер Уоллес. Я, братец мой, еще в 1910 году досконально знал о твоём существовании. Вот что значит, милейший, наука!

Но в это время «параллельный брат», к которому была обращена эта тирада, внезапно, вместо ответа, издал такой рев, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки профессора.

Его рев был подхвачен ликующе-неистовым громом звуков всех собравшихся на поляне гигантов и Мамонтову показалось, что он сейчас будет разорван в клочья от того сотрясения воздуха, которое за этим ревом последовало.

И вдруг рев стих в одно мгновение — так же внезапно, как и появился.

Мамонтов инстинктивно обратил свои взоры в сторону подземелья и невольно подался на шаг назад от представшего перед его глазами видения.

Легко и изящно, с какой-то неуловимо-очаровательной грацией, из мрачного подземелья появилась нагая женщина.

Никакой обезьяньей шкуры, никакой маски, о которых писал мистер Уоллес, на ней не было.

Когда первое волнение, охватившее ученого, миновало, он сделал по направлению к женщине шаг вперед.

С пересохшим от волнения ртом, профессор Мамонтов, снимая с головы свою походную кепку, сказал женщине по-английски, выдавая свое волнение вибрацией неподчинявшегося его воле голоса:

— Приветствую вас, леди Лилиан ван ден Вайден! Я счастлив от всей души, что мудрая судьба столкнула меня с вами, свершив то, о чем в самых смелых грезах своих я не смел предполагать возможным к свершению. Иначе как чудом я не могу объяснить факт моего пребывания здесь.

Фраза была несколько витиеватой и надуманной, но в том необычайном положении, в котором очутился ученый, это было единственное, что он мог сказать.

Женщина весело рассмеялась.

— Люди еще не забыли, как меня звали? — весело спросила она уже далеко не столь чистым языком, которым разговаривала десять лет тому назад с мистером Уоллесом.

Время, очевидно, брало свое. Оно не могло только уничтожить в ней то вечно женское, то могуче-притягательное, что жило в ней с колыбели.

Профессор не нашелся, что ей ответить.

После некоторой, довольно напряженной паузы, женщина заговорила снова. Она спросила:

— Довольны ли вы обращением с вами? Не нужно ли вам чего-нибудь? Может быть, вы голодны или желали бы отдохнуть?

Профессор Мамонтов был поражен этой речью до глубины души.

— Благодарю вас, — сказал он, несколько запинаясь, — мне и требовать-то ничего не пристало: я — ваш пленник, и от вас зависят все дальнейшие распоряжения.

– Вы ошибаетесь, – мягко сказала женщина. – Вы не мой пленник, а мой гость.

– Гость?

– Да.

– Но...

– Я вам все объясню потом, – сказала Лилиан. – А сейчас скажите мне: не меня ли вы искали в чащах наших лесов?

– О, нет, леди! Вас я не искал, но я искал возможности встретиться с одним из представителей вашего племени.

– Так вот почему вы так упорно шарили в моих владениях вот уже больше сорока раз, как всходило и заходило солнце. Но зачем же вам понадобилась эта встреча и откуда вы знали о существовании моего племени?

– Я ученый, леди. Торжество моей научной гипотезы требовало реального подтверждения ее. Вот причина моих настойчивых поисков, как вы изволили выразиться, в ваших владениях. Я приношу свои извинения, леди, если беспокоил ими вас.

– Хорошо, – тихо сказала Лилиан. – Я поняла вас. Вам будет предоставлена полная свобода: вы можете оставаться у меня столько времени, сколько пожелаете, а затем, как только захотите, будете доставлены обратно на то самое место, откуда были унесены. Однако насчет ваших научных изысканий мы еще поговорим после. В них необходимо будет внести некоторые оговорки.

– Леди, – спросил Мамонтов, чувствуя, как волна радости дарованной ему жизни и будущей свободы алой краской заливают его лицо, – чем заслужил я такое милостивое отношение к себе с вашей стороны?

– Я сказала вам уже, сэр, разговор об этом будет после. А теперь я должна спросить согласие у своих мужей по поводу решения, принятого мною относительно вас.

Лилиан ван ден Вайден повернулась лицом к своему племени и какие-то дикие, гортанные звуки полились из ее рта, странные звуки почти нечленораздельной речи, состоявшие почти из одних только гласных и букв «р» и «г».

Все племя низко опустило головы и подняло руки по направлению к ней.

– Мои мужья согласны, – сказала Лилиан ван ден Вайден Мамонтову, снова поворачиваясь к нему своим просветленным лицом.

– Леди, – произнес Мамонтов в экстазе, – не мучьте меня, не откладывайте объяснения вашего совершенно непонятного поступка, – скажите, почему вы даруете мне жизнь и свободу?

Лилиан ван ден Вайден колебалась одно мгновение, потом все ее существо озарилось таким удивительным светом, что Мамонтову показалось, что он сам пронизан им.

Улыбаясь ему прямо в лицо, она ответила ему на его настойчивый вопрос:

– Только потому, сэр, что дуло вашего ружья опустилось перед сердцем моего первого внука...

– Вашего...

Догадки Мамонтова начинали подтверждаться все, одна за другой.

В порыве почти детского восторга он вдруг спросил Лилиан:

– Скажите, как зовут вашего внука?

– Еще никак, – ответила Лилиан, не переставая улыбаться. – Мы даем нашим детям имена только тогда, когда они заслуживают их себе. Мой маленький любимец еще очень молод для имени.

– И тем не менее он, правда, через вас, уже заслужил его! – торжественно воскликнул профессор Мамонтов. – Если бы вы только разрешили, я дал бы ему его настоящее имя. Я знаю, как нужно назвать его!

– Как? – уже серьезно спросила Лилиан.

– Eozoop, т. е. заря жизни.

Лилиан задумалась на мгновение и закрыла глаза.

Потом, открывая их, отражая в них бесконечную любовь и ласку, сказала голосом, полным теплоты и благодарности:

– Благодарю вас, сэр. Это прекрасное имя, и им будет назван мой любимец. «Заря новой жизни», мой маленький, мой любимый Eozoon!

ЛЮБОВЬ

Как это, в сущности говоря, случилось – Мамонтов и сам не знал.

Первый день, наступивший вслед за днем его пленения, прошел в тщательном изучении всего уклада жизни племени человекообразных и в детальном ознакомлении с анатомо-физиологическими особенностями его гостеприимных хозяев. Ему была предоставлена полная свобода действий. Вся теория его о структуре тех, в гостях у кого в настоящее время он находился, подтверждалась с удивительной точностью. Он ошибся в своей теории в самых незначительных деталях и пустяках. Все эти добродушные гиганты были полудвуполыми самцами, не способными оплодотворить самих себя за отсутствием в их организме органа матки, но способными оплодотворить самку любой из филогенетических ветвей. Но ни единой самки у них не было, и профессору Мамонтову стало ясным, что если б не Лилиан – все их племя неминуемо должно было подвергнуться процессу вымирания.

Теперь все внимание профессора было сосредоточено на потомстве Лилиан, т. е. на результате скрещивания обеих филогенетических ветвей.

Особенно интересовался Мамонтов внуком Лилиан – уже вторым поколением этого скрещивания – не будучи в состоянии решить вопроса, был ли этот внук уже совершенно двуполым, т. е. настоящим *Homo divinus*'ом, способным самооплодотвориться, или же являлся все еще полудвуполым существом.

Ясно было одно. У Лилиан от человекообразных были особи женского пола. Были ли эти особи исключительно

женского пола, или также полудвуполы, с доминирующими женскими признаками?

Эти вопросы необходимо было решить до того, как покинуть племя, и профессор ломал себе голову, как бы деликатнее изложить свою просьбу Лилиан о разрешении ему подвергнуть ее потомство соответствующему исследованию.

А Лилиан, как назло, во второй день пребывания Мамонтова среди ее племени не показывалась больше.

Железная логика Мозеля дала глубокую трещину благодаря великим открытиям Мамонтова.

С каждой особо выдающейся детали строения организмов человекоподобных он делал по несколько снимков, которые должны были воочию убедить его противников и весь мир в его победе.

Уже на третий день он ознакомился с детьми Лилиан ван ден Вайден, изумляясь той точности, которая была предвидена его теорией в смысле определения свойств, которыми должны были бы обладать такие особи, явившиеся результатом скрещивания обеих филогенетических ветвей.

У Лилиан было десять человек детей, из которых двое были женского пола, т. е. обладали совершенно правильно развитыми женскими половыми органами как первичного, так и вторичного характера, наряду с зачаточно развитыми органами – мужскими.

Т. е., иначе говоря, они были полудвуполые самки, тогда как восемь остальных являлись полудвуполыми самцами.

Первым родился у Лилиан полудвуполый сын, ему было уже 19 лет, второй родилась полудвуполая дочь, которой было 18 лет, и от скрещивания этих двух особей – брата и сестры – и произошел Еозооп, которому было всего два года.

Наши дети достигают такого роста, каким обладал двухлетний Еозооп, лишь к десяти-двенадцати годам.

Профессор Мамонтов с волнением дожидался той минуты, когда он смог бы удостовериться, что ребенок этот двупол в полной степени, т. е. лет через четырнадцать су-

меет самооплодотворить себя и дать в результате уже настоящего Номо divinus'a, человека, из мрака времен снова вернувшегося к новой жизни, к 180 градусу развития человечества, к его славе и апогею всех его физических и духовных возможностей!

Цикличность жизненного бытия встала перед глазами ученого реальнее, чем понятие о том, что дважды два – четыре.

Наконец, на четвертый день к Мамонтову снова явилась Лилиан ван ден Вайден.

На этот раз она была не одна.

Она вела за руку своего внука, своего любимца, своего Еозооп'a, и с нескрываемой гордостью показала его профессору Мамонтову

Пряди нежных как лен волос падали на чистый лоб Еозооп'a. Физически – это был уже вполне завершенный Номо divinus!

Лилиан ван ден Вайден, ослепительно прекрасная, как всегда, нагая и гордая своей наготой, явилась к нему в этот день перед заходом солнца.

Она подошла к нему незаметно и, нежно дотрагиваясь до плеча Мамонтова, сказала:

– Вы грустите? Вам хочется меня покинуть? Я понимаю вас. Если не ошибаюсь в причине вашей грусти и задумчивости, не покидающей вас весь сегодняшний день, то завтра мои мужья и братья доставят вас обратно. Но... на прощанье мне хотелось бы поговорить с вами. Вы, может быть, – последний белый человек, которого я вижу, и вам, чувствуя к вам доверие и бесконечную благодарность, мне хотелось бы объяснить все те причины, благодаря которым я здесь. Я знаю, что это не имеет никакого реального смысла делать, но мне все же хотелось бы, чтобы хоть один белый человек знал в тайниках своей души о том великом будущем, что ожидает человечество! Чем-нибудь я должна же отблагодарить вас. Так вот, может быть, мысль о прекрасном будущем человека скрасит вам вашу жизнь, даст бодрость и спокойствие вашей старости и сделает смерть легкой и приятной. Пройдем ко мне.

Вначале Мамонтов хотел возразить этой удивительной женщине. Он хотел громко крикнуть ей, что он вовсе не грустит и совершенно не намерен завтра возвратиться к себе, но, взглянув в глаза Лилиан, он нахмурил брови и молча, не проронив ни единого звука, последовал вслед за ней в таинственное подземелье, куда не проникал еще ни один белый человек...

Помещение, в которое провела Мамонтова Лилиан ван ден Вайден, представляло собой подземную залу, стены которой были убраны шкурами леопардов, тигров, ягуаров и золотистых гиен, а пол устлан душистыми травами и стеблями неведомых Мамонтову лесных растений. В зале было совершенно светло, но откуда проникал свет – Мамонтов никак не мог догадаться.

Воздух, хотя и насыщенный несколько дурманящими ароматами высушенных растений, был все же свеж и совершенно сух.

Лилиан ван ден Вайден растянулась на душистом ковре трав и пригласила Мамонтова последовать ее примеру.

Мамонтов, затаив волнение и стараясь скрыть его, опустился рядом с лежавшей на душистом полу Лилиан и сел, поджав под себя ноги.

Некоторое время Лилиан молча разглядывала своего гостя, в то время как Мамонтов не знал, куда направить свои взоры.

Глядя на эту удивительную наготу, Мамонтов испытывал странные чувства.

К восторгам ценителя красоты примешалось еще что-то иное, от чего шли мурашки по всему телу и что, при всем желании и неоднократных попытках ученого, он никак не мог отогнать от себя.

Это чувство было сильнее его и заставляло его то отводить свои взоры от Лилиан, то с особенной жадностью впитываться глазами в ее тело.

Он почувствовал облегчение, когда Лилиан отвела от него свой пристальный взгляд и, вздохнув чуть-чуть глубже обыкновенного, начала свой рассказ.

— Ну вот, — сказала она, не меняя позы. — Случилось это со мной давно... порой мне кажется, что с тех пор прошли тысячелетия, эры, целые геологические периоды. Еще ребенком, отданная своим отцом в монастырь, я с отвращением отшатнулась от людей и Бога и перестала верить и в тех, и в другого. У меня были какие-то особенные глаза. Они видели то, чего не видели или не хотели видеть другие. Они видели, как носящие вериги и истязающие свою плоть монахини тайными ходами принимали мужчин и отдавались им с бесстыдством завязтых блудниц.

И тогда уже мне стало ясным, что кроме природы никто и ничто не руководит движениями жизни.

Мне трудно последовательно развить перед вами все возраставшее во мне чувство омерзения к людям, которое в конце концов совершенно заполонило меня.

И тогда мне стало ясным: людям необходимо помочь. Но как?

Денег у меня было много, но денежная помощь — разве это помощь? Как можно помогать орудием разврата? Что же надлежало делать? Поступить сиделкой в госпиталь? Уехать в колонию для прокаженных и там ухаживать за обреченными? Какой смысл, когда здоровые люди прокаженнее самой проказы! Уйти в монастырь и замаливать чужие грехи? О, я уже побывала в монастыре, я уже знала, как там замаливаются грехи. Ах, если бы вы только знали, какой омерзительной ложью мне представлялось все...

Лириан улыбнулась хорошей и светлой улыбкой.

— Когда я была взята своим отцом из монастыря, по прошествии некоторого времени, за неподходящее поведение моего круга поведение, меня заточили в одном из замков отца. Тогда уже я выписала себе все книги, всю мировую литературу по вопросам евгеники, биологии, филогении и физиологии. Я прочла бездну книг. Я стала образованнее любого студента естественного факультета, уверяю вас! И вот, среди этих книг был труд одного ученого, русского профессора биологии Мамонтова. Вскоре его труд стал моей настольной книгой. Я не ошибусь, если скажу, что именно этот труд и решил окончательно мою судьбу и

вопрос о моей жертве. Да что же вы стоите? Вам нехорошо, кажется? Вы так бледны. Может быть, непривычный аромат трав действует так на вас? Да сядьте же вы, ради всего святого. Я велю сейчас принести воды...

Мамонтов, дрожа, как в лихорадке, схватил Лилиан за руки, видя, что она намеревается позвать кого-то хлопаньем в ладоши.

– Нет, нет, – прошептал он, стараясь вернуть себе свое спокойствие и уравновешенность. – Не зовите... мне ничего не надо... Было дурно и прошло... прошло... уверяю вас, все прошло уже...

– По вашему лицу этого не видно еще, – сказала с улыбкой Лилиан и спросила:

– Но вы ведь слышали о таком ученом, вы-то знакомы с его трудом?

– О, да! – уже совершенно спокойно, глубоко вздохнув, ответил профессор. – О, да, я знаком с... этим трудом. Но... но я не согласен с ним совершенно, – сказал вдруг Мамонтов, на что-то твердо и бесповоротно решившись.

Так значит, он был невольным виновником того, что эта женщина здесь... Он...

Так вот откуда мысли этой удивительной женщины, вот откуда шла ее теория, которая не могла не поразить Мамонтова сразу своим сходством с его собственной теорией.

О, пусть погибнет лучше все, все достижения его мысли, его гения, его интуиции – только бы эта женщина... изменила самой себе!

– Вся теория этого ученого не стоит и ломаного гроша, – горячо и убежденно воскликнул он, нервно шагая из угла в угол огромной залы по душистым травам, устилавшим пол. – Ломаного гроша не стоит она, уверяю вас!

Мамонтов волновался все больше и больше.

Первый раз в жизни ему пришлось разбивать самого себя, отказываться от собственных, годами напряженной работы выработанных взглядов, но... он должен, он обязан был сделать это ради... ради...

– Ах, леди, – с мольбою в голосе заговорил он снова. – Я сам ученый и хорошо знаю, что говорю. Поверьте мне: в

природе нет ничего нового! И вашей жертвой вы ничего нового не дадите этой тупой природе! Вы думаете избежать насилия, обмана, лжи и социальной розни? Чем? Как? Почему? Вот вы рассказывали мне при первом нашем свидании, что один из ваших сыновей изобрел нечто вроде пращи... а зачем он изобрел ее? Да исключительно ради насилия! И чем эта праша лучше автоматического ружья мистера Уоллеса, которым он намеревался ухлопать одну пятую ваших мужей?! А откуда эти шкуры на стенах? Разве эти тигры и леопарды сами пришли и отдали их вам? Это ваши дети, леди, убили их! И, убивая, наверное, прятались за деревьями, чтобы не быть замеченными, т. е. обманывали и лгали! Это сказка, леди, это фантазия, детская фантазия – не больше!

И, теряя все больше и больше власть над собой, совершенно забывая свое достоинство величайшего в мире ученого, профессор Мамонтов вдруг резко остановился у распростертой на полу и с ужасом слушавшей его Лилиан, и, падая, как подкошенный, перед нею на колени, сжимая ее похолодевшие руки в своих, прошептал ей с нечеловеческой мольбою и силой страсти в голосе:

– Лилиан, откажитесь от вашей глупой жертвы: она ни к чему. Вернемся к людям. Он прекрасен, покинутый вами мир!

Чист и звучен был смех Лилиан ван ден Вайден, прозвучавший жестоким ответом страстному шепоту Мамонтова.

– Мне? – сквозь этот смех воскликнула Лилиан, – мне вернуться? После всего того, что мной проделано? После двадцати лет непрерывной жертвы и любви? О... какая жалкая мысль! Я не ожидала ее от вас. Такое предложение мог сделать мистер Уоллес, но... но не вы. О, как мало, однако, вы поняли все то, о чем я рассказывала вам! А что стали бы делать мои дети, мой внук, мой маленький любимец? Я вот и сейчас беременна в одиннадцатый раз, и, видите, совершенно нага перед вами, ибо, когда я беременна, я считаю позором скрывать свое тело от взоров моих мужей, и наоборот, будучи пустой, я ношу на себе обезьянью шкуру и маску в знак печали. И вы, вы предлагаете

мне вместо всего этого чистого и прекрасного — мир? Ложь, обман и гадости развращенных священников, что еще предлагаете вы мне? Что? Что?

Лилиан сама, казалось, перестала себя сдерживать. Почти звериным гневом засверкали ее глаза, и всей позой своей она говорила о тяжелом оскорблении, которое только что было нанесено ей.

Мамонтов выпустил ее руки из своих и, грустно опуская голову, тихо и медленно сказал:

— Успокойтесь, дорогая леди. Мы оба виноваты в равной степени. Если я имел дерзость забыть, с кем имею дело, то и вы, в гневе вашем, забыли, что тот, кто это забыл... только человек... Простой и слабый человек, Лилиан, — грустно улыбаясь, повторил профессор.

Под впечатлением его грустного голоса, Лилиан как будто успокоилась немного и постепенно стала приходить в себя.

— Да, вы правы, — сказала она после некоторого молчания. — Хотя вы и ученый, но вам трудно понять меня. Да и не только меня. Даже философия вашего же белого собрата, профессора Мамонтова, чужда вам совершенно. Вы не в силах понять весь ее тонкий и глубокий смысл. А я поняла ее. Мне даже многое стало понятным, благодаря гению этого ученого, из совершенно других областей.

Я умру спокойно только тогда, когда собственными глазами увижу своего правнука. И, если я колебалась, как назвать своего внука, то правнуку моему — имя уже приготовлено. Все тот же Мамонтов приготовил его. Правнука своего я назову Homo divinus'ом!

Ах! ему даже и не придется завоевывать мир, употребляя насилие, как полагаете вы. К тому времени у вас там, на материках, туберкулез, сифилис, проказа, чума и войны — сделают свое дело и опустошат мир, и очистят его от ваших вымирающих собратьев. Он придет, мой правнук, чтобы править вселенной мудро и справедливо, по законам и предначертаниям самой явившей его природы. Праща моих детей — только упражнение ума, а винтовка мистера Уоллеса — жезл управления белого человека. Но ни ей, ни ей

подобным инстинкта природы уничтожить нельзя. Жизнь имеет только одно определение: жизнь есть жизнь! Я не знаю, было ли начало у этой жизни, но я твердо знаю, что конца ей не будет.

Мамонтов не мог скрыть своей улыбки:

– Вы увлекаетесь, леди, – сказал он мягко. – Если вы убеждены, что у жизни нет конца, вы должны быть убеждены и в том, что у нее не было начала. Ибо: если начало у жизни было, то конец должен быть неминуемо. Это азбука. А начало, Лилиан, было у жизни, – чуть слышно закончил свои слова профессор Мамонтов.

Наступило молчание.

Мамонтов чувствовал, как где-то наверху, над подземельем, ночь опускалась на землю и постепенно замирали все звуки и шорохи леса.

И Мамонтов попытался в последний раз.

Это была попытка утопающего схватиться за крылышко пролетающей мимо бабочки.

– Там, – почти одними губами сказал он, – ваш отец. Он бодр и ум его ясен, и он до сих пор не теряет надежды найти вас. Он твердо верит, что вы существуете еще...

Мамонтов коснулся, очевидно, своими словами самого больного места Лилиан.

Она побледнела как мрамор.

Мамонтов исподлобья наблюдал за ней.

– Разве вы знакомы с моим отцом? – спросила она, помолчав немного, совершенно изменившимся голосом, выдавая свое волнение дрожанием губ.

– Ваш отец – мой большой друг, – с какой-то подчеркнутой жестокостью ответил Мамонтов. – И... он всего в нескольких милях отсюда... сейчас же за лесом наш лагерь. Он много думает и много говорит о вас, Лилиан.

– Целых двадцать лет я не видала его, – в грустной задумчивости, как бы сама себе, тихо сказала Лилиан. – Двадцать лет! О!.. Это огромный срок и... и я не скрою, я хотела бы видеть его!.. Ведь, хотя он и белый человек, он... он все же... он прадед моего Eozoon'a!

И вдруг, беря себя в руки и как бы отталкивая от себя какой-то чудовищно надвигающийся на нее образ, она громко вскрикнула:

– Но, этого все же никогда не будет! С тем – все конечно и возобновиться не может!

Ставка Мамонтова была бита.

И только тогда Мамонтов дал волю всем своим чувствам, переполнившим его через край.

Страшная сила, разбуженная в нем неведомым желанием, заставила его схватить эту женщину в свои объятия, найти своими воспаленными устами ее губы и прильнуть к холоду ее зубов.

И все существо Мамонтова было наполнено одним порывом.

«Я люблю тебя, Лилиан!» – хотел крикнуть Мамонтов и... вдруг вспомнил, что Лилиан беременна.

Тогда, выпуская ее из своих объятий и воспринимая особенно болезненно все свое бессилие человека, ничем не отличающегося от разных пасторов Берманов, кончающих всегда в отношениях к женщине одним и тем же, напичканным и насквозь пропитанным ложью, обманом, личномещанским и шаблонно-будничным, сказал, глядя куда-то в сторону, тихо, но ясно и внятно, ощущая в ногах свинцовую тяжесть и как бы налившуюся в них боль:

– Лилиан, прощайте! Если можете, простите меня. Я прошу немедленно доставить меня туда, откуда, ради злых шуток надо мной, меня доставили к вам.

Профессор Мамонтов, не глядя больше на Лилиан, повернулся и направился к выходу.

Когда он поднялся уже на первую ступень, Лилиан тихо остановила его.

– Пойдите, – сказала она. – О самом главном я вас не предупредила еще. Вы можете быть доставлены на место при одном только непременном условии: все то, что приключилось с вами, все то, что видели у меня: мое племя, мои дети, Еозооп – это тайна, которая не подлежит оглашению. Иначе – вы останетесь здесь навсегда. Несмотря ни на что, вы внушили мне чувство непреодолимого доверия, и я по-

ерю вам на слово, если вы дадите мне обещание никогда никому не рассказывать о пережитом и виденном здесь вами. До того, как вы не дадите мне этого слова, я не могу от- дать распоряжения о доставке вас обратно.

В горле у Мамонтова пересохло и стало трудно дышать.

Некоторое время он молчал, ибо способность говорить покинула его. Все рушилось: его карьера ученого, ожидав- шая его слава и неожиданная любовь. Но солгать, солгать этой женщине – он не мог. Вместо ответа он вынул из кар- мана свой фотографический аппарат с ценнейшими сним- ками и с силой швырнул его о землю, разбивая его в мел- киедребезги.

Потом, схватившись руками за голову, как безумный бросился вверх по ступеням, вон из этого подземелья – на освещенную луною поляну, где, вдыхая в себя полной гру- дью свежий воздух, застонал как смертельно раненый зверь, падая на влажную от росы траву и зарывая в ней свое вос- паленное, пылающее лицо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Лилиан вышла к нему из подземелья в последнюю ми- нуту, когда уже снаряженные в путь носильщики готовы были завязать ему его красные от слез глаза и вынести по неведомым и таинственным лабиринтам из леса.

Она вышла к нему такой, какой видел и описал ее ми- стер Уоллес, в плотно облегавшей ее тело обезьяньей шкуре, с отвратительной маской человекообразного существа.

– Вы, – сказала она Мамонтову голосом, в котором дро- жал и переливался с трудом сдерживаемый гнев, – при- чина моего облачения в шкуру человекообразного. Если я считала позором скрывать от своих мужей полноту моего чрева, то, конечно, я не должна была этого делать перед белым человеком. Белый человек – это зверь, от которого необходимо скрывать естественную природу. Обычай моего

племени заставляет меня проводить вас — иначе я не вышла бы к вам вовсе. Мои мужья опечалены, что я укрылась шкурой, — но я объяснила им, в чем дело, и они одобрили мой поступок. Вы избегли мести с их стороны только благодаря все тому же Еозооп'у. Помните это всю вашу жизнь. Вспоминайте почаще случившееся с вами здесь — оно, может быть, хоть немного облагородит ваши человеческие эмоции.

Вспоминайте, как вы, белый человек, попавший к идеально чистому в нравственном отношении племени, сразу постарались внести в него ложь и обман. Вспоминайте, что вы не нашли ничего лучшего, как пытаться уговорить меня изменить моим мужьям. Твердо помните, что всегда и всюду, куда только ни проникает белый человек, вслед за ним ядовитыми змеями вползают соблазн, ложь, духовная нищета. Всю свою жизнь помните, что мистер Уоллес своими разрывными пулями внес в мое племя не большее зло, чем вы вашими словами! Вы стоите друг друга! А я, я люблю свое племя больше себя. Мои мужья, мои дети, мой внук — моя гордость и надежда на будущее.

На мгновение это отрезвило Мамонтова и он, с горькой усмешкой, сказал:

— Я вижу, и вы не лишены некоторых странностей, леди. Я предостерегаю вас от них! Это самое опасное, чем только заболевает человек. И это совершенно не свойственно воспеваемой вами природе!

— Вы заговорили словами профессора Мамонтова, — воскликнула удивленно Лилиан. — Это заставляет меня обратиться к вам с последней просьбой: если вы когда-нибудь где-нибудь встретите вашего знаменитого коллегу, передайте ему от имени неизвестной женщины, что, ненавидя весь род людской, она, эта женщина — готова признаться, что безумно любит только одного белого человека, и человек этот — профессор Мамонтов!

— Хорошо, — сказал профессор твердым и спокойным голосом, сам завязывая себе глаза, давая этим понять своим носильщикам, что он торопится, — хорошо! Я постараюсь исполнить вашу просьбу, леди.

– Прощайте.

– Прощайте, Лилиан.

Чудовищные руки подняли большое тело ученого легко и плавно, и профессор, погружаясь в какое-то дремотное состояние, с чувством бесконечной усталости закрыл глаза...

Очнулся профессор Мамонтов на том самом месте, откуда был похищен почти неделю тому назад.

Все вещи его были с ним.

Даже его топор и пилу заботливо положили рядом с ним.

И револьвер был у него в кармане.

Профессор нащупал его рукой и вдруг хорошо и светло улыбнулся.

В кармане он нащупал еще что-то и, вытащив это «что-то», убедился, что это был пятый коренной зуб человекообразных с добавочной жевательной подушечкой на нем, который у человека отсутствует.

А улыбнулся он потому, что вспомнил, при каких обстоятельствах он нашел этот зуб.

Как раз в самый разгар своего объяснения с Лилиан ван ден Вайден, когда с его уст сорвалось признание в любви, он увидел его лежавшим прямо перед собой в пахучей траве, на которой лежала любимая им женщина.

И в ту минуту наука оказалась сильнее любви. Он поднял этот зуб и спрятал его в карман!

Но теперь... он ему был не нужен.

Профессор размахнулся и забросил этот ценный клад в самую гущу лиан.

Он слышал, как зуб стукнулся сперва о какую-то ветку, потом зашелестел в листьях, падая на землю.

Совершил ли он преступление против науки?

Конечно, нет!

Пройдут века и дело Лилиан ван ден Вайден все равно покажет миру свои ошеломляющие результаты.

Наука от этого не пострадает.

Пострадает только он один, профессор Мамонтов, гениальный ученый и мыслитель, маленький человечиска.

Ну и что же из этого? Разве это важно?

Ведь там, в непроходимых чащах леса – останутся же, благодаря этому поражению, великое племя гигантов, милый Еозооп, и она, она, Женщина, Мать, Лилиан!

* * *

Возвращения Мамонтова ждала вся экспедиция с тревогой и нетерпением.

Европа, Америка, Азия и Австралия были оповещены по радио о последней попытке великого ученого доказать правильность своей теории, и радиотехники экспедиции едва успевали схватывать бешеный поток запросных волн своими безостановочно работающими приемниками.

Напряжение достигло кульминационного пункта. К тому же и приближался день отъезда.

Профессор Мозель, окрестивший последнюю попытку своего друга и противника «Ausflug ins Grüne»¹, внешне казался спокойным, как всегда, шутил без конца со своими коллегами, внутренне же волновался, словно гимназист перед экзаменом.

И не за себя волновался ученый. Он был так же мало занят собой, как и его соратник Мамонтов, – за науку, за великую науку волновался профессор Мозель. Только она одна и была ему дорога. Остальное было все тленом, прахом и ерундой!

Мамонтов был еще очень далеко, когда его приближение было обнаружено Мозелем, так что к моменту его вступления на территорию лагеря все ученые уже успели собраться в одну общую толпу, вокруг профессора Мозеля.

Мамонтов приближался медленно, тяжелой усталой походкой, и, когда он подошел уже на расстояние нескольких шагов от столпившихся ученых, профессор Мозель вдруг

¹ Прогулка по саду (нем.).

обратил внимание, как постарел этот человек за последние две недели своего отсутствия. Серебряные змеи сидины проползли в его густую шевелюру, еще так недавно поражавшую своей вороньей чернотой. И в бороде змеились эти серебряные нити, и мелкая сеть морщин обрамляла глаза и углы рта.

Ученые, хранившие гробовое молчание, единодушно разразились громким «ура», когда профессор Мамонтов подошел к ним.

Они никаких перемен не заметили в Мамонтове. Уловил их только зоркий и острый глаз Мозеля.

И этого было достаточно немецкому ученому, чтобы понять все!

Доклад профессора Мамонтова членам экспедиции был очень краток.

Ученый сообщил, что, несмотря на самые тщательные поиски, ему не удалось обнаружить решительно никаких следов пребывания в лесах Малинтанга представителей второй филогенетической ветви, «реальное существование которых, в настоящее время, мною самим ставится под знак вопроса», — такими словами закончил свой доклад Мамонтов.

И затем, вставая со своего места, несколько тяжело и грузно, чувствуя, как прежняя упругость и крепость мышц тела постепенно покидают его, сказал твердым и не допускающим возражения голосом, протягивая профессору Мозелю свою руку:

— А теперь я прошу вас, дорогой коллега, пожать мне руку, как это делает всегда победитель побежденному. Вот так. Благодарю вас. Далее — прошу выслушать мое последнее распоряжение, как главы экспедиции: я прошу вас немедленно телеграфировать профессору Марти, чтобы он тотчас же снимался с лагеря и отправлялся в Малабозх, где, по всей вероятности, нас уже дожидается предоставленный нам Лигой наций корабль. Завтра же отправляемся и мы туда. Работы экспедиции закончены. Телеграфируйте одновременно об этом в Батавию фон Айсингу и известите весь мир о том, что мною, профессором Мамонто-

вым, как признавшим вашу победу и свое поражение, с этого дня главенство над всей экспедицией со всеми вытекающими отсюда обязанностями и последствиями передается вам, профессору Мозелю.

— Это невозможно! — почти возмущенно воскликнул профессор Мозель.

— Это мое распоряжение, — мягко, но подчеркивая интонацией голоса неизменимость своего решения, сказал профессор Мамонтов.

— Коллега, — почти плача, сказал Мозель. — Вы, очевидно, недостаточно глубоко проникли в дебри леса, вы недостаточно хорошо искали...

Мамонтов улыбнулся.

— Я прошел его насквозь, — ответил он. — Кроме самых обыкновенных приматов, в нем ничего нет. Я надеюсь, мой научный авторитет достаточен, чтобы мне поверили в этом?!

— Значит, человечество не совсем вымирает еще? Значит, надежда на прогресс его не умерла еще? — воскликнул Мозель, и лицо его, помимо воли, как будто просияло внутренним светом.

И, поражая Мозеля силой искренности и убеждения, профессор Мамонтов произнес:

— О... конечно! Еще далеко, далеко не все потеряно в этом отношении. Клянусь вам самой наукой, что теперь, как никогда, может быть, человечество находится на пути к своему освобождению и полному возрождению всех своих физических и нравственных качеств!

— Какое счастье будет оповестить об этом мир, — радостно сказал Мозель и спросил: — В котором же часу мы завтра тронемся в путь?

— Распоряжения отдаете вы, — наклоняя голову, напомнил ему Мамонтов и, набирая полную грудь воздуха, вздохнул радостно и легко.

«ПРОДОЛЖАЙТЕ ВАШЕ ЗАСЕДАНИЕ, - НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ»

Уже через десять дней участники обеих групп экспедиции были в сборе в гавани Малабоэх.

На проводы прибыл из Батавии генерал-губернатор голландских колоний барон Гуто фон Айсинг.

«Лига Наций» темной громадой грузно сидела в голубых волнах океана.

Отсутствовал только Ян ван ден Вайден. Ему было поручено эскортировать последние пожитки экспедиции, за которыми был выслан из Малабоэха особый поезд носильщиков.

Но и он должен был явиться с минуты на минуту, так как отъезд был назначен профессором Мозелем на завтра.

Банкет в честь отъезжающих хотели устроить сперва в роскошной вилле ван ден Вайдена, где некогда жил сам хозяин. Однако вот уже пять лет, как вилла эта совершенно не посещалась ван ден Вайденом. Тем не менее, управляющий содержал ее в полном порядке, всегда готовый принять своего патрона, характер которого вечно позволял думать, что обладатель ее может вдруг, ни с того ни с сего, нагрянуть в свое владение и вновь поселиться в нем, следуя своему минутному капризу.

Однако такое решение обидело фон Айсинга, имевшего также в Малабоэхе, прекраснейшем уголке земного шара, свою собственную виллу; и, уступая его настойчивым просьбам, профессор Мозель решил избрать именно ее местом прощального банкета в честь отъезжающих ученых. За огромным, протянувшимся сквозь всю сказочно громадную залу, роскошно убранном столом сидели ученые и делились друг с другом впечатлениями своих законченных изысканий.

В конце стола, на председательском месте, убранном лавровыми гирляндами, сидел профессор Мозель, имя которого было уже оповещено миру, как имя победителя в необычайном споре титанов научной мысли.

Справа от него сидел профессор Мамонтов, а слева сумрачный и ушедший в себя профессор Марти. Этот ученый, рьяный сторонник мамонтовской теории, никак не желал примириться с поражением своего учителя.

Тем более он не желал соглашаться с этим, что все данные, добытые им в мелу береговых отложений Кампара и Сиака, говорили именно скорее в пользу теории Мамонтова, чем против нее.

«Ах, это рыцарство в науке! – думал с негодованием итальянец. – Нет ничего хуже его. Оно только создает ложные убеждения и взгляды в массах и губит авторитет этих самых ученых-рыцарей. Ничего! По приезде в Европу я займусь крайне пикантным делом... я займусь разоблачением мамонтовского “поражения”, в которое я не верю. Тут что-то нечисто!»

Зато профессор Валлес, дарвинист до мозга костей, никак не мог скрыть своего восторга.

– Детская фантазия, всюду фантазия, вносимая даже в науку. Позерство! Ничего строго положительного. Ничего реально обоснованного. Гениальные вспышки, которыми сами эти гении воспользоваться не умеют как следует. По-английски это называется просто – беспутством!

Остальные ученые были настолько физически утомлены проделанной работой, что отдавали себе отчет о происшедшем еще смутно и неясно.

«Вот вернемся домой, – думали они, – отдохнем, да там в тиши своих кабинетов и лабораторий и разберемся как следует, в чем дело. Слава Богу, коллекций и записей хоть отбавляй!».

Барон фон Айсинг сидел на противоположном конце стола и успел уже в самом начале обеда сказать краткую прощальную речь.

В этой речи он отметил геройство ученых, предложил почтить память покойного профессора Хорро вставанием, что и было всеми исполнено и, наконец, с нескрываемой радостью констатировал победу и торжество мозелевской теории.

— Я не ученый, — сказал генерал-губернатор колоний, — но, да простит мне это уважаемый профессор Мамонтов, — я всегда считал его теорию опасной и скользкой. Она в основе своей противоречит основным догмам христианства, и я с прискорбием отмечаю тот факт, что подобное течение идет из России, и без того потерявшей веру во Всевышнего. Победа этой теории означала бы полный разгром всего нравственного, заложенного в человеке Богом, и человечество только проиграло бы от этого. А потому, искренне и глубоко продолжая уважать профессора Мамонтова, я поднимая бокал за его поражение.

Эта речь, очень неудачная и нетактичная, была встречена гробовым молчанием всех ученых. Мозель, красный как рак, готовый сгореть со стыда за глупость и нетактичность официального представителя власти той страны, в которой они находились, сразу же после речи фон Айсинга постучал вилкой о свой бокал и только для того, чтобы спасти положение, так как говорить ему, как и всем остальным ученым, совершенно не хотелось, начал свою речь дрожащим от волнения голосом.

Наибольшее спокойствие и безразличие сохранял сам профессор Мамонтов и, глядя на него, Мозелю удалось вскоре справиться со своим дрожащим голосом.

— *Hoch geehrte Herren!*¹ — начал свою речь профессор Мозель в наступившей могильной тишине. — Только что все мы имели возможность слышать, как наш гостеприимный хозяин допустил чудовищную ошибку в своей речи, которую никто из нас, конечно, превратно не пожелает понять. Ошибка эта заключается в том, что мне приписывается какая-то совершенно непонятная победа над врагом, который в настоящую минуту, может быть, силен, как никогда еще силен не был. Я уверяю вас, что ни о каких победах, ни о каких поражениях речи совершенно быть не может и, чтобы доказать это вам — я позволю себе вкратце рассказать о результатах тех грандиозных работ, участниками которых мы все были.

¹ Достопочтенные господа (нем.).

– Просим, просим, – раздались голоса.

– Конечно, детально разобраться в этих результатах, – продолжал свою речь профессор Мозель, – еще нет никакой возможности. Произведенная работа была чересчур колоссальна, чтобы о ней можно было говорить спустя десять дней после ее окончания. Пройдут годы перед тем, как каждый из вас, взвесив, сопоставив, сосчитав, проследив и т. д. и т. д. все то, чему он был здесь свидетелем, прославит громкими трудами свое скромное имя и свой великий народ. Но, понятно, уже сейчас можно наметить те вехи, которые будут стоять на дороге дальнейшего развития всех биологических наук. Иначе говоря, я хочу сказать, что какой-то общий закон уже вытек из результатов наших работ и может быть уже сформулирован, хотя бы приблизительно, подвергаясь в будущем лишь некоторой шлифовке, но уже с настоящего момента становясь основой, фундаментом, на котором мы обязаны будем в дальнейшем строить прекрасное здание нашей науки.

В этом месте мозелевской речи все затаили дыхание, ибо всем стало ясно, что сейчас должен был последовать приговор теории Мамонтова, впервые изрекаемый великим ученым. До сих пор он отказывался это сделать. Но... ученые должны были вскоре разочароваться... Гениальный немец и сейчас, когда, казалось, все данные для признания его теории базисом всего были у него в руках, отказался это сделать и лишь постарался логически связать свою теорию, т. е. неодарвинизм, с некоторыми положениями мамонтовской гипотезы.

– Еще великий Окен, – воскликнул Мозель, – доказал нам, что исходной точкой жизни высших животных надо считать пузырьки материи – соединение азота, водорода, кислорода и углерода, – который, под влиянием, очевидно, в нем самом находящихся причин, подвержен какой-то деформации, внедрению наружной оболочки внутрь для образования будущих внутренних органов нашего тела, затем дроблению на части-клетки, которые, в силу закона взаимного притяжения, образуют, в конце концов, целую колонию неразрывно связанных между собой клеток, – ком-

плекс низших одноклеточных, именуемый высшим животным организмом.

Чудесами и Богом мы, люди, условились называть то, что нам еще не ведомо и до объяснения чего мы еще не дошли.

Каковы процессы, заставляющие пузырек Окена проделывать всю свою сложную эволюцию, мы не знаем, и многие видят в них начала метафизические. Но нас в настоящее время не это должно интересовать, и о пузырьке Окена я не для того напоминал вам, чтобы вызвать спор о Боге и причине.

Я хотел своим указанием на океновский пузырек отметить начало цикла развития живой материи, к которому эта материя уже никогда вернуться не может.

Ибо мы научились уже в наших лабораториях заставлять делиться искусственные клетки, но не научились еще хотя бы самое простое животное – амебу – возвращать к стадии океновского пузырька.

Вот этим я и хочу подчеркнуть свою основную мысль, к которой и подхожу.

Раз цикл развития начался – точка! Он неминуемо должен следовать лишь вперед, но обращаться назад не может!

Уважаемые товарищи! Закон о необратимости развития остался никем непоколебленным, а потому он и должен остаться для нас законом!

Но... в каком порядке происходит движение живой материи и ее прогресс? Двигается ли она по прямой, или движение ее лежит в плоскости круга?

Вот в ответе на этот вопрос и заключается вся премудрость. Ибо, если движение идет по прямой – живую материю ждет все новое и новое совершенствование; если же движение идет по кругу, то неминуемы фазы развития и упадка, и закон необратимости развития становится под знак вопроса.

Действительно, может быть, круг, по которому движется развитие жизни, настолько велик, что мы не в состоянии уловить регресса живой материи, так как любой отрезок этого круга, который мы в состоянии охватить нашим

исследованием, в виду огромности самого круга, — представляется нам всегда прямой?

Может быть, лабораторно я не могу обратить амёбу в пузырек Окена, но бесконечное время обращает?!

Итак, вот вам обе школы налицо: моя и профессора Мамонтова. Прямая и круг.

Впрочем, я должен оговориться: у меня моей собственной школы нет.

Я просто сумел в логических формулировках соединить воедино эволюционистов и трансформистов, трансформистов и селекционистов, селекционистов и дарвинистов и... и наконец, ныне я попытаюсь соединить и дарвинистов с мамонтовистами! И это уже будет — «мозелетизмом».

Однако, шутки в сторону. Я признаю существование идеи.

Деятельность нашего мозга есть не что иное, как деятельность, свойственная исключительно нервной клетке и ткани — вполне понятное явление дифференциации функций живой материи.

Однако, группируясь в особый орган — особого напряжения и эманации — в мозг, эти клетки создают как бы антенну, схватывающую эманации идеи, заложенной в космосе.

Вот откуда идет моя школа «собирающая всех теорий воедино». Я вижу во всякой мысли результат восприятия только того, что реально существует. Комбинацией различных мыслей — мы приближаемся к единой идее, обладающей ими всеми, т. е. к истине.

Не думайте, что я удаляюсь от первоначальной своей мысли и забываю ту цель, к которой должна прийти моя речь.

Нет. Этими несколько отвлеченными сообщениями я только хочу более логически подчеркнуть то заключение, к которому мне надлежит прийти. Соединить прямую с кругом.

Я первый хочу подать вам пример того, к чему только что призывал. Я не могу, конечно, признать полностью теорию профессора Мамонтова, но я громогласно, перед всеми вами отказываюсь также и от ранее руководившей

мною точки зрения. Я отныне сплетаю свою теорию с теорией Мамонтова и торжественно венчаю прямую с кругом.

Как, какими путями, почему и каким образом я дошел до осознания вышеизложенного, будет мной опубликовано по возвращении в Европу. Теперь же я лишь вкратце набросаю вам ту новую точку зрения, что овладела в настоящее время всем моим существом.

Движение живой материи идет не по прямой.

Но оно идет и не по кругу.

Мы движемся – *по эллипсу* !

Причем эллипс настолько удлинен, что боковые стороны его почти равны прямой, а полюса – очень быстрые переходы от плюса к минусу, т. е. суть не что иное, как те катаклизматические периоды, которым подвержена земля и все живущее на ней.

Это неожиданное заключение Мозеля настолько поразило всех ученых, совершенно не ожидавших его, что некоторое время царило полное молчание и все притаили дыхание.

Мозель, вытирая платком лоб, успел даже сесть за это время.

И вдруг все ученые разом, мгновенно следуя за вскочившим со своего места Мамонтовым, разразились таким громовым «ура», от которого запели тонкие бокалы с налитым в них искрящимся шампанским.

Крик, шум, восторженные аплодисменты долго не могли утихнуть, и ученые, как разбушевавшиеся дети, продолжая стоять, громко приветствовали профессора Мозеля еще в течение продолжительного времени.

И вдруг кто-то сзади дотронулся до плеча Мамонтова.

Мамонтов, словно электрический разряд прошел по всему его телу, вздрогнул и обернулся.

Перед ним стоял один из прислуживавших за столом ливрейных лакеев, который, почтительно нагнувшись, подал ему на подносе запечатанный конверт. На нем было написано:

«Господину Президенту Международной Экспедиции ученых».

Мамонтов взял конверт и некоторое время в нерешимости держал его в руках.

Потом, видимо, решившись, он протянул пакет профессору Мозелю и, среди сразу наступившего молчания заинтересовавшихся пакетом ученых, сказал:

– Этот пакет адресован не мне. Фамилии на нем не указано, но указано звание того лица, кому он предназначен. Президентом экспедиции являетесь вы, коллега, письмо должно быть вскрыто вами.

Мозель взял конверт.

Быстро прочитав письмо, Мозель резким движением руки протянул письмо к вздрогнувшему и как бы ожидавшему это Мамонтову и так, чтобы все могли услышать его, громко и четко сказал:

– А письмо-то, оказывается, все-таки вам, дорогой коллега! Оно от старика ван ден Вайдена, в порыве своего восторга забывшего, очевидно, что президентство передано вами мне совершенно преждевременно. А восторгаться – есть действительно чему! То, что не удалось вам, удалось наконец этому неугомонному охотнику.

И отчеканивая в дальнейшем каждое слово, падавшее в сознание Мамонтова как удары добела раскаленного молота, профессор Мозель произнес:

– Невероятное все же случилось! Наконец найден настоящий, никем еще не виданный до сих пор экземпляр человекообразного существа – представитель вашей второй филогенетической ветви *Homo divinus*'a, который убит и привезен ван ден Вайденом в свою виллу. Старому и опытному охотнику приходится верить на слово, он не может ошибиться. От всей души поздравляю вас, мой гениальнейший друг, с успехом и прошу вас, по просьбе ван ден Вайдена, немедленно отправиться к нему в его виллу, чтобы собственными глазами убедиться в своей победе и принести нам подтверждение сообщаемого ван ден Вайденом факта.

Мамонтов молчал.

Кто-то прибил его ступни огромными, ржавыми гвоздями к ставшему внезапно холодным как лед полу. Сердце его до боли сжалось.

Через пять минут он уже мчался в автомобиле, любезно предоставленном ему фон Айсингом, по направлению к вилле Яна ван ден Вайдена.

Когда Мамонтов покинул ученых, чтобы поспешить на зов ван ден Вайдена, спокойствие и уравновешенность оставили его.

Стоя на крыльце губернаторской виллы, он не мог не удержаться от приказаania шоферу поскорее закончить возню у фонарей автомобиля.

Шофер с удивлением взглянул на него, так как не прошло и сорока секунд, как фонари были им уже заправлены, машина заведена, и он сам сидел за своим местом, готовый по первому приказанию двинуть рычаг и дать машине полный ход, тогда как торопивший его Мамонтов все еще стоял в каком-то столбняке на ступенях крыльца.

Наконец настала очередь шофера поторопить своего седока, и он с чисто английской вежливостью, приподымая на голове свою кепку, корректно произнес:

— Если вы торопитесь, сэр, я ручаюсь доставить вас на место в две с половиной минуты, но... для этого вам следует занять место в машине, сэр!

Мамонтов совершенно бессознательно, руководимый исключительно одним только инстинктом, залез в кузов автомобиля и, съезжившись, забился в угол, утопая в мягких рессорных подушках.

Машина дрогнула и сразу взяла с места полный ход. Острые глаза ее — фонари — двумя молочно-белыми, ослепительными потоками света залили на мгновение роскошную зелень парка, окружавшего губернаторскую виллу, вырывая из мрака ночи гигантские, мясистые листья тропических растений и окрашивая их в неестественно зеленый цвет, скорее серо-стальной, чем зеленый.

Потом вынырнули откуда-то какие-то неведомо-фантастические кручи и скалы, мелькнули на мгновение застывшие воды лазоревого океана и вдруг, вслед за крутым по-

воротом, взятым на полном ходу, протянулось ровное, как аллея, шоссе, по которому, как бы успокоившись, задрожали хищно-белые полосы ослепительных фонарей машины, понесшейся в вихревом свисте.

Через три минуты Мамонтов подъезжал уже к вилле ван ден Вайдена.

Когда автомобиль въехал в открытые настежь ворота небольшого сада, окружавшего эту виллу, Мамонтов сразу увидел на освещенной веранде, перевитой ползучими растениями, старого Ван-ден-Вайдена, в дорожно-охотничьем костюме, с винтовкой за плечами и охотничьим ножом у пояса, рядом с каким-то дорожным мешком довольно внушительных размеров, лежавшим прямо на мраморных плитах веранды, у самых ног охотника.

Мысль Мамонтова работала четко, но одна его мысль, не успев оформиться, быстро сменяла другую, совершенно ей противоположную, и этот пестрый бег мыслей, ровно ничем друг с другом не связанных, был даже приятен Мамонтову, ибо не позволял сознанию его остановиться на самом страшном, самом важном.

«Старик не успел еще переодеться с дороги»... — подумал Мамонтов, и тут же мелькнуло другое: «Какой странный затылок у моего шофера, — у европейцев очень редко бывают такие затылки...»

«Вон в том мешке, что лежит у ног старика — завернуто, очевидно, человекообразное существо»... «Какие красивые розы обрамляют балюстраду этой богатой виллы». «Ну, конечно, человекообразное в этом мешке, — кого же еще мог поймать этот неутомимый старик»...

Автомобиль давно стоял, застыв у ступеней крыльца, а Мамонтов все еще ежась сидел в глубине кузова.

Ван ден Вайден сбежал со ступеней веранды и, подбегая к автомобилю и открыв дверцу, воскликнул почти торжественно и восторженно:

— Вылезайте же, мой добрый друг, поскорее! От всей души поздравляю вас с триумфом, который ожидает вас.

Мамонтов вздрогнул.

Он опомнился, пришел в себя и выскочил из автомобиля, сделав знак рукою шоферу, чтобы он отъехал прочь.

– Я позову вас, когда надо будет, – сказал он ему, и легкий гравий затрещал под упруго надутыми шинами отъезжавшей в боковую аллею машины.

Удивлению ван ден Вайдена не было конца, когда вместо радостной благодарности на произнесенное им приветствие Мамонтов, окончательно пришедший в себя и вполне собою владеющий, сказал старику сухо и нахмутив брови:

– Отошлите куда-нибудь и под каким-нибудь предлогом всех ваших слуг. Мы должны на время остаться с вами одни.

– Я не понимаю вас, – почти обидчиво сказал старик, пристально всматриваясь в перекошенное лицо Мамонтова.

– Я сам себя еще плохо понимаю, сэр, – ответил профессор и твердо добавил: – Однако, для того, чтобы понять себя лучше, я все же вынужден настаивать на своей просьбе. Иначе... иначе я не вскрою этого, этого... ведь оно тут лежит? да?.. мешка...

Ван ден Вайден пожал плечами и пошел во внутренние покои отдать соответствующее распоряжение.

Огорошенный поведением Мамонтова, старик начинал испытывать настоящую обиду. Он так искренне радовался. Он с таким искренним энтузиазмом желал славы русскому ученому!

И... вдруг такое странное отношение!

К чему эта непостижимая таинственность в деле, которое еще сегодня ночью станет достоянием всего человечества, всех уголков земного шара!

Войдя через некоторое время снова, после отданных им распоряжений, к оставленному им Мамонтову, старик решил даже дать понять своему другу, что сердцу его нанесена обида.

Но... едва он вступил на террасу, как принужден был оставить свое намерение...

То, что он увидел, было настолько диким и странным, и даже таинственно-страшным, что невольный озноб пробежал по всему его телу.

Мамонтов... плакал.

Это был плач большого и никогда не плакавшего человека, с конвульсивным вздрагиванием плеч и тяжелыми неуклюжими слезами, которые, словно свинцовые брызги, застревали, казалось, уже навсегда в его густой бороде.

И, глядя на него, ван ден Вайден испытал настоящий, почти животный ужас чего-то непоправимо-жестокое, что стояло невидимо тут же рядом, с ним, за его спиной.

— Профессор, что с вами? — кинулся он к нему, не будучи в состоянии произнести больше ни звука.

Профессор перевел свой взгляд на него, и ван ден Вайдену показалось, что лесная ночь смотрит на него из этих огромных и пустых глазниц.

— Я знаю, кто в мешке... — глухо сказал он.

— Человекообразное... — начал ван ден Вайден, но Мамонтов перебил его.

— Нет. Вы убили свою дочь!

Голос профессора стал еще глуше и, казалось, это не он говорит, а тот непоправимый, что стоял рядом с ними, за их спиной, говорит за него.

— Мою... дочь... Вы бредите! — закричал ван ден Вайден, схватывая Мамонтова за плечи и тряся его. — Вы с ума сошли!

Но уже захлестнувший его ужас обессилил мышцы его крепких рук, и они безвольно опустились вдоль туловища, оставляя Мамонтова, не пытавшегося даже сопротивляться ему. И в его серые глаза постепенно стала проникать из пустых впадин мамонтовских орбит та густая темнота, что вызывала физическую тошноту и погружала сознание в ночь.

Однако, в последнюю секунду, когда казалось неминуемым наступление обморока, старик, призвав всю свою железную силу воли на помощь, внезапно выпрямился и с какой-то тайной надеждой в голосе сказал:

— Но ведь это только ваше предположение, профессор? На чем основано оно? Я напоследок, перед отъездом, бродил по опушке леса, у самого нашего лагеря, и повстречался с... с ним, с человекообразным существом. Когда я

заметил его, оно было шагах в пятистах от меня, и лицо его было обращено в сторону. У меня – глаза, прошедшие совершенно беспримерную школу охотника. Я тотчас же взял его на мушку и, не давая времени ему обернуть свое лицо в мою сторону, спустил курок! Мои слуги приволокли мне труп. Ведь я же не слепой, в конце концов! Как бы ни изменилась моя дочь, если бы это была она, за двадцать лет своего пребывания в лесу, – она все же не могла стать обезьяной. А это была обезьяна, – клянусь вам в этом! Смотрите сами.

С этими словами ван ден Вайден одним взмахом своего охотничьего ножа вспорол весь мешок сверху донизу. Перед Мамонтовым была действительно человекообразная обезьяна.

Но Мамонтов молчал.

Делая над собой невероятное усилие, он взял наконец старика, начинавшего совершенно оправляться от своего испуга, переданного ему Мамонтовым, за руку и тихо и грустно сказал:

– Что делать! Непоправимое останется непоправимым. Надо взять себя в руки. Слушайте меня. Я видел вашу дочь в лесах Малинтанга и я полюбил ее так, как только может полюбить человек. И – не время сейчас об этом – если я был до известной степени причиной ее исчезновения, то я явился уже настоящей причиной ее гибели. Да! Ваша дочь была права, говоря мне, что всюду, куда ни ступит белый человек, за ним следуют ложь, обман и неправда, ибо ложь, обман и неправда – это тени человека. Моя любовь к ней разбудила в ней забытую любовь к кровным родным, – то проклятие, что называется «голосом крови» и что не могло умереть в ней.

Она не выдержала до конца, и кто поставит ей это в вину? Изменой ее жертве – не была ее роковая экскурсия на опушку леса... Нет! Она, разбуженная моими рассказами о вас, очевидно, пожелала взглянуть хоть один раз еще в своей жизни на того, кто был дедом и прадедом ее удивительных детей. И это... это стоило ей жизни!

И с этими словами Мамонтов взял из рук изумленного ван ден Вайдена его острый охотничий нож, осторожно и ловко, как опытный оператор, в торжественном молчании провел им по рыжей шерсти лежавшего перед ними зверя. В таком же торжественном молчании была сорвана ученым с головы убитой и отвратительная маска, скрывавшая ее лицо.

И опустившийся на колени ван ден Вайден только мельком увидал, как из-под этой ужасной маски золотым каскадом рассыпался душистый шелк волос и сверкнуло лицо его дочери, лицо Лилиан.

Когда Мамонтову, после долгих усилий, удалось привести ван ден Вайдена в чувство, он, стараясь внушить ему силой своей воли необходимость держать себя в руках, усадил его в одно из плетеных кресел, расставленных по веранде, и сказал ему властно и жестко:

– Вы забыли, что вы мужчина. Возьмите себя в руки. О случившемся никто не должен знать. Это ясно и не требует доказательств. Пока не вернулись ваши слуги, мы зароем труп вашей дочери тут, в вашем саду, чтобы она навсегда уже оставалась вблизи вас. Достаньте мне лопату.

Ван ден Вайден повиновался.

Он действовал, как во сне, совершенно механически производя все свои движения и исполняя приказания Мамонтова.

Только тогда, когда тело Лилиан ван ден Вайден лежало уже на дне вырытой могилы, он несколько пришел в себя и сдавленным голосом сказал:

– Двадцать долгих лет я искал тебя, мое сокровище! И – нашел. Но нашел только для того, чтобы зарыть в эту яму. Профессор, бросьте в эту могилу розы!

Но Мамонтов сердито пробурчал себе что-то под нос и, вместо цветов, с силой швырнул в глубину ямы первую лопату сырой земли, закрывшей сразу прекрасные голубые глаза Лилиан и рассыпавшейся с отвратительным шелестом по всему ее телу.

Но это не покорило старика.

Он совершенно ясно услышал, как вслед за брошенной землей — в глубину могилы были брошены ученым его сухими и тонкими губами мягкие и таинственные слова, ласковые, как те голубые глаза, которые только что закрылись землей:

— Лилиан, Лилиан! Я люблю тебя!

* * *

Через час Мамонтов вернулся уже обратно.

Он вошел в зал спокойной, твердой, уверенной походкой, и по тому возбуждению, с которым все ученые повскакали со своих мест и бросились к нему навстречу, понял, что за этот час в этом зале царило томительное и мучительное ожидание.

— Ну что? Что нового? Говорите скорее! Кто убит? В чем дело? — посыпались на него со всех сторон взволнованные и произносимые дрожащими голосами вопросы.

Мамонтов спокойным жестом руки водворил молчание и, когда это гробовое молчание опустилось на зал, ярко залитый потоками электрического света, сказал просто и спокойно, но каким-то глухим, несколько вялым, скучным и несвойственным ему голосом:

— Продолжайте ваше заседание: ничего особенного не случилось!.. Произошла самая обыкновенная ошибка, столь часто случающаяся с самыми опытнейшими охотниками. Убит экземпляр обыкновенной *Satyrus sumatranus*, несколько только больший ростом, чем то обыкновенно бывает. Сэр Ян ван ден Вайден приносит всем свои глубокие извинения за причиненное напрасно волнение.

Сказав это, профессор Мамонтов тяжело опустился на свое место.

ДОМОЙ

На рассвете все было готово к отплытию.

В эту тревожную ночь никто, конечно, и не думал о сне, и все участники прощального банкета прямо с пиршества отправились на ожидавший их корабль. К трем часам утра в гавань проводить отъезжающих прибыл и Ян ван ден Ванден.

Внешне старик совершенно преобразился.

Те, кто последние двадцать лет привыкли видеть этого человека всегда в высоких охотничьих сапогах, в охотничьем запыленном костюме, с винтовкой за плечами, револьверами и ножами за поясом, не узнали высокого седого джентльмена, облеченного в строгий черный сюртук несколько старинного покроя, с высоким цилиндром на голове, лоснящимся в лучах залитой электричеством гавани.

Перед глазами ошеломленных этой переменой старых его знакомых – был гордый, прирожденный аристократ, казалось, никогда не державший в руках огнестрельного оружия.

– Что за перемена произошла с вами? – спросил его барон фон Айсинг, мучительно хотевший спать и с нетерпением дожидавшийся того момента, когда «Лига Наций» снимется с якоря.

– Я решил отдохнуть от охоты и пожить немного у себя в Малоэбахе, – сухо ответил ему ван ден Вайден и отошел в сторону.

Наступил момент прощания.

Сходни были убраны, огромный корпус судна тяжело вздрогнул всем своим сложным организмом, где-то в таинственных недрах его что-то зарычало и заскрежетало, все скрытые механизмы в нем пришли во внезапное действие, в то время как огромная пушка выпалила оглушительно и раскатисто прощальный салют покидаемому берегу.

Бирюзово-зеленые волны океана как-то разом запенились и забурили вокруг его стальных бортов, и сразу стоя-

щим на палубе дунуло в лицо соленым ветром безбрежного океана.

С берега несло оглушительное «ура», на которое участники экспедиции отвечали громкими возгласами и размахиванием рук, вооруженных платками, шляпами, зонтиками и палками.

– Слушай! – раздалось четко с капитанского мостика. – Полный ход!

– Есть! – почти неуловимо ответил кто-то таинственный и невидимый, и спрятанные в недрах корабля машины заревели и застучали с еще большим воодушевлением и энергией.

Берег становился все отдаленнее и отдаленнее, и стоявшие на нем люди казались маленькими черными точками в серых сумерках предрассветной зари.

Мамонтов стоял на палубе и, плотно облокотившись о паранет, смотрел не отрываясь на микроскопическое скопление этих черных точек на покидаемом берегу сквозь острые стекла цейсовского морского бинокля, совершенно явственно продолжая еще различать высокую фигуру ван ден Вайдена и рядом с ним стоящего барона фон Айсинга.

Фон Айсинг, судя по наклону его фигуры, видимо, доказывал что-то Ван-ден-Вайдену, одной рукой указывал по направлению к удалявшемуся кораблю, а другую заложил за борт своего военного мундира на манер Наполеона.

И в дальнейшем совершенно отчетливо увидал еще Мамонтов, как собеседник барона внезапно поднял свою левую руку и прижал ею свой сюртук в том месте, где находится сердце. Потом сразу, как подкошенный, рухнул оземь, вызывая своим падением необычайное волнение среди прочих черных точек.

Тучная фигура фон Айсинга, склонившаяся над распростертым на земле ван ден Вайденом, скрыла от глаз Мамонтова тот момент, когда на принесенные носилки носильщики переложили отяжелевшее мертвое тело.

Берег стал тонкой нитью, а люди на нем маленькими букашками.

Бинокль выпал из рук Мамонтова, от неожиданности вздрогнувшего и отступившего на шаг назад от парапета.

— О! — воскликнул подходивший к ученому в это время профессор Валлес, любезно нагибаясь и поднимая своему коллеге упавший бинокль. — Нервы?

Профессор Валлес подал Мамонтову бинокль и, похлопав его по плечу, добавил:

— Ну, что же?! В этом нет ничего удивительного! Наоборот, я нахожу это даже вполне естественным. Такая милая прогулочка, участниками которой мы все имели честь быть, хоть у кого может расшатать всю нервную систему до самого ее основания! Разве я не прав?

Мамонтов не ответил.

Слева от них громоздилась громада Паоло Брасе, а прямо перед их глазами высилась таинственно-неприступная гора Офир, всегда остающаяся дольше всех возвышенностей в виду у отплывающих кораблей, обрамленная, словно живыми кудрями, непроходимыми чащами своих сказочных лесов.

Наступало утро. Солнце еще не выпускало своих щупалец-лучей из-за горизонта, но уже кровавой полосой был окутан горизонт, и красный пожар начинающейся зари уже горел на высокой вершине Офира.

«Лириан ван ден Вайден мертва, — думал сосредоточенно и угрюмо Мамонтов. — Там ее уже нет. Там плачут по ней. Но смерть ее не значит, что жертва ее стала внезапно бесцельной и ненужной. О! ведь там, в этих чудесных недрах, остался и живет Eozoon — настоящая заря восходящей жизни. Спелое и сильное! зерно ее! Да! Жив Eozoon!»

— Вы молчите? — осведомился у Мамонтова Валлес, не получивший от него ответа, но, видимо, расположенный к разговору. — Или вы заняты какими-нибудь мыслями? Я хочу надеяться, что они не печальны? Ведь вы возвращаетесь, наконец, в свою очаровательную страну милых наивностей и трогательной мечтательности!

— Я возвращаюсь в Россию, — спокойно и несколько холодно ответил Мамонтов.

– Я именно и имел Россию в виду, мой дорогой коллега! Вечную страну неосуществимых мечтаний, сентиментальных революций, т. е., виноват, я хотел сказать – утопических революций и...

Мамонтов вдруг рассердился.

– Наша революция, – резко прервал он профессора Валлеса, – не утопия! Это вполне реальная попытка повернуть человечество психологическим путем с 225-го градуса своего циклического пути к 180-му градусу нравственного величия его и мощи. Вам это не ясно? Не физиологическим путем, а психологическим! И – кто знает, – может быть, психологический возврат человечества к психологии Номо divinus'a и возможен и послужит на помощь его физиологическому возврату, который придет оттуда!

И вдруг, внезапно осененный какой-то новой мыслью, своей глубиной превосходящей все ранее им высказанное и продуманное, профессор Мамонтов ласково улыбнулся куда-то вдаль, в синие волны океана.

Да, конечно, это была истина!

И перед этой истиной на мгновение поблек в сознании профессора чудесный образ Лилиан, ибо только сейчас он осознал всю чудовищную бесцельность ее поступка.

Конечно, это была трагедия, но трагедия эта касалась одного только человека, а не человечества в целом.

Мамонтов с нежностью вспомнил ту страну, строителем которой он неминуемо должен был быть в будущем, и его просветленному взору ясно представилось великое будущее человечества, революционным путем, минуя все законы физиологии, возвращающегося к своему нравственному величию и мощи.

Новый, возрожденный класс его родины, не был ли он его пресловутым Езооп'ом?

Начинавшие укладываться в новую стройную систему мысли ученого были прерваны сухим и брызжащим голосом англичанина.

– Так вот в чем дело, – лукаво прищурился профессор Валлес. – Россия поставит нам нравственных Номо divinus'ов, которым будет дано управление миром? Вы прости-

те мой шовинизм, как я прощаю вам ваш, — но вы жестоко ошибаетесь! Пока жива Англия, этого никогда, слышите — никогда не будет!

— Англия уже мертва, — спокойно ответил Мамонтов.

— Мертва? — В глазах Валлеса стоял неподдельный ужас и изумление. — Англия мертва?

— Да, — так же спокойно повторил Мамонтов. — Мне вспомнился сейчас один очень характерный случай, имевший лет 15 тому назад место в Англии. Английское правительство, нуждаясь в деньгах, продало русскому правительству лучшую скаковую лошадь английских королевских конюшен. По этому поводу в палате лордов был запрос министру внутренних дел: «На каком основании могла произойти такая штука?». Если я не ошибаюсь, министру пришлось уйти в отставку и вскоре пал и весь кабинет. Из-за лошади! В то время как простой чиновник английских колоний без суда и следствия приговаривает к смертной казни невинных туземцев!

Милый сэр Валлес! Вы потеряли не только породистую кровь лошади, — вами давно уже потеряна породистая кровь человека! За отсутствием новых производителей, вам придется не только закрыть ваши конюшни, но и ваши дворцы принуждены будут вскоре закрыться. Продажа вашей крови произошла вследствие той же денежной нужды — вследствие вашей колониальной политики. Не сердитесь на меня, но ведь давно уже пора признать, что, с тех пор как вы продали вашу лошадь — лошади поглупели, зато люди стали значительно умнее! Вот именно в этом — в поумнении людей и в обеднении английской крови — я и вижу моменты, ведущие Англию к гибели. Вы не сердитесь на меня?

— Я не могу сердиться на забавные парадоксы, — с достоинством ответил сэр Валлес. — И к тому же вы сами противоречите себе! — Тут профессор Валлес не выдержал, и, изменяя своей английской сдержанности, колко сказал: — Если, по вашему мнению, русскую революцию ожидает тот же успех, что постиг вашу теорию о Homo divinus, а вы,

кажется, именно того мнения, то мне не с чем вашу революцию поздравить!

Профессор Мамонтов не мог сдержать улыбки.

— И тем не менее... — задумчиво сказал он и неопределенно пожал плечами.

— О, как вы несносны! — воскликнул профессор Валлес. — Ведь это же недостойно ученого! Ведь это же смешно! Я, действительно, принужден теперь согласиться с тем, что вы, русские — непостижимый народ! Решительно — все вы, сколько вас там ни есть миллионов! Ничего у вас нет положительного, абсолютно ничего реального! И вы смее-те еще говорить о смерти Англии?! Все ваши общественные деятели, все ваши ученые, математики, революционеры, я это тысячи раз говорил уже — в основе своей неисправимые фантазеры и поэты! Критического отношения у вас к своим эмоциям ни у кого никогда не хватает. И с такими вот качествами вы думаете победить мир?

«Лига Наций» на всех парах убегала от восходящего солнца.

— А свет все-таки идет с востока! — громко расхохотался профессор Мамонтов и, бросая через борт парохода в зеленые воды океана свою потухшую и обмякшую папиросу, не смог удержаться, чтобы на презрительное пожатие плеч сэра Валлеса не повторить ему снова свою упрямую и ничего не говорящую полу-фразу, полу-намека, которая только что так сильно рассердила англичанина:

— И... тем не менее... тем не менее, я все-таки гораздо более прав, дорогой сэр, чем вы это предполагаете!

Сказал — заложил руки глубоко в карманы и шепнул нежно-нежно и так тихо, что даже рядом стоявший Валлес не мог расслышать произнесенного им таинственного слова:

— Eozoon!

Об авторе

Михаил Осипович Гирели (Пергамент) родился в 1893 г. в Одессе в семье юриста и общественного деятеля О. Я. Пергамента – председателя совета присяжных поверенных Одесского округа, одного из создателей Союза союзов, депутата Государственной Думы II и III созывов.

В 1906 г. в связи с избранием О. Я. Пергамента в Думу семья переехала в Санкт-Петербург.

Будущий писатель-фантаст учился в Тенишевском училище. В 1912 г. издал под собственной фамилией (совместно с З. Берманом) сборник стихотворений «Пепел».

В двадцатых годах работал лектором по гигиене и охране труда в школах ФЗО железной дороги. В 1926 г. выпустил под собственной фамилией брошюрку «Пионер-санитар».

В историю ранней советской фантастики вошел благодаря трем романам, выпущенным под псевдонимом «Михаил Гирели» – «Трагедия конца» (1924), «Преступление профессора Звездочетова» (1926) и «Eozoon (Заря жизни)» (1929).

Умер в Ленинграде в 1929 г.



Роман «Eozoon» был впервые издан в Ленинграде Издательством писателей в 1929 г. В тексте исправлены некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации.

Оглавление

Книга первая Десятилетние поиски	6
Книга вторая Международная научная экспедиция	68
Книга третья Дневник мистера Уоллеса	126
Книга четвертая Жертва	193
Об авторе	240

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.